

# ДЕВОЧКА

## Четвертое измерение

„Kristall-Weizen<sup>1</sup> bitte... ja, mit Zitrone...  
Hier ist doch frei, oder?“ –

„Bla-bla...“ –

«Nein, danke, ich trinke keinen Sekt – Sodbrennen pur, igitt!! Danke trotzdem.  
Ich hole nur mein Schlafmittel ... Sehen Sie: so sieht eine große flüßige Schlaftablette  
aus... prost!“ –

„Bla-bla...“ –

„Wo komme ich her? Direkt vom Schillertheater...  
Ach, Sie meinen meine Aussprache, wo kommt sie her? Nein, nicht aus Polen, Polen  
habe ich überflogen.  
Seltsam, alle fragen mich immer das Gleiche: «Wo kommst du her?», und keinen  
interessiert «Wo gehst du hin?»  
Die zweite Frage ist aber viel wichtiger, junger Mann.  
Warum?  
Na, weil nur «wohin» ist deine eigene Entscheidung! ...“<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> сорт пшеничного пива.

<sup>2</sup> - Kristall-Weizen, пожалуйста... да, с лимоном...  
Здесь свободно, или как...?

- Труляля...

- Нет, спасибо, я шампанского не пью – чистая изжога, фу...! Но – спасибо.  
Я здесь за своим снотворным... Видите - вот так выглядит большая жидкая снотворная таблетка -  
прост!

- Труляля...

- Откуда я? Прямоком от театра Шиллера. Ах, вы имеете ввиду мой акцент, откуда он? Нет, не из  
Польши, Польшу я перелетела.

Странно, все спрашивают всегда одно и тоже: «откуда ты?», но никого не интересуется: «куда ты?»  
Хотя второй вопрос намного важнее, молодой человек.

Почему? Так ведь только «куда» и есть твое собственное решение!...

...Я пячусь к выходу. Нет, это не дверь с ручкой, это состояние. Это уход с территории военных действий тетки с челкой, которая только что заказала себе пшеничного пива в бокале величиной с кегель и, скучая, продолжает вести разговор, начатый в тысяча девятьсот каком-то году... только собеседник опять поменялся. На этот раз зацепился лысеющий любознательный из Гамбурга, которому тоже не спится. Да ну вас обоих – я ухожу! ...

Пятясь, я плавно переступаю порог этого состояния, но способна в любой момент вернуться, если окликнут.

Наверное это и есть четвертое измерение, куда долетает музыка, слова и сигаретный дым третьего. Здесь у времени свои законы: я стою и смотрю на бурые обои моего детства, на то место, которое я в них расковыряла, когда мне было больно. На обоях детства изображены цветущие капустные качаны, и в них зашифрованы все тайны мира и Бога... Здесь мне не нужно врать и прятать свою творческую бездомность.

В этом измерении меня чаще всего встречает, блуждающий по стенам теневой театр без режиссера. Я иду навстречу этим теням, светя фонариком, чтоб получше их рассмотреть и оценить сегодняшним днем. Но чем усиленной я, дура, туда свечу, тем быстрее исчезают тени прошлого. Чертова физика!

Когда думаю о Киеве детства и юности, возникает черно-белый, вспыхивающий зигзагами царпин, фильм, и постоянно рвется пленка.

Это короткометражные сюжеты, без начала и конца, без эмоциональной последовательности... И именно в них, таких некачественных, ошеломляют внезапной реальностью отдельные кадры, цветные и озвученные, о которых мне лучше бы не вспоминать. Слово лежат на дне реки невидимые копейки и вдруг то одна, то другая засверкает, выхваченная из тени через толщу воды случайным лучом. Это те кадры, которые сегодня, сквозь глубину лет, получают нужное освещение и смысл. Я пытаюсь достать их со дна, но это совсем не просто - преломленные в памяти слоем времени копейки эти, лежат куда глубже, чем мне поначалу кажется...

*...Коротко вспыхивают прекрасные ландшафты между грязными кривыми заборами...*

*... Захлестывает цунами вульгарной физической боли, которую учишься любить, чтобы от нее не свихнуться...*

*...Поражают неожиданные ароматы вони...*

*...Если раздеваешься перед сном догола, то безболезненно снимаешь одежду вместе с кожей, и рыба чешуя плывет по блестящему паркету...*

*.... Стою по горло в воде бассейна, смотрю на мозаику дна и на искривленные водой пятнистые ноги – на них моя мозаика, ставшая от хлорки синюшной...*

*Мне 13 лет. Сейчас я выйду из воды, они меня увидят и убьют - их много...*

*... Охватывает долгожданный фейерверк чувств, и плевать, что дальнейший путь будет усыпан его пустыми гильзами...*

*...Вот идиот, что ж ты скрипку все обвиняешь, звук тебе не тот?  
И у «Страдивари» будет деревянный звук, если играть не умеешь, а только колотишь  
по корпусу инструмента. Тоже мне, любовничек! ...*

*...Попутный ветер! Обернулась взглянуть на пройденный путь, и тут же запорошило  
глаза пеплом - это догнали по ветру сожженные мосты. Ну так на фиг  
оборачиваешься!...*

*... Оценила честность одиночества. Выбираю смерть от жажды в пустыне, вместо  
смерти от жажды у ведра с водой, где до последнего момента тщетно надеешься  
напиться...*

*Мама, я ухожу от мужа....*

Стоп, поэтесса, это было гораздо позже!

Командировочный житель Гамбурга, который находится там снаружи, должно быть замечает, что обращенный к нему взгляд окончательно деревенеет, и, подхватив за ножку свое вино, он спешно прощается и направляется в тот угол бара, где в нем больше заинтересованы.

Допив и расплатившись за свое снотворное, я устремляюсь через полутемное прокуренное пространство к двери: три часа ночи – спать! Во всем стеклянном и гладком параллельно мне движется как бы потустороннее отражение немолодой тетки с челкой, которой она заразилась от Мирей Матье в шестидесятых.

Челка - это постоянная величина.

В моей жизни менялось все: государства, политические системы, профессии, цели, партнеры, убеждения, желания, языки... Но челка оставалась неизменной, очевидно для того, чтобы я себя всегда узнавала.

### **Он ест!**

Хотя тетка с челкой навеки моя и мне ежедневно приходится иметь с ней дело, мы обе не совсем одно и то же. Тетка пытается выжить и сражается на десяти фронтах одновременно. Ей удается, непрерывно хлопая по воде, держать нашу общую голову на поверхности.

Это совсем неинтересное занятие, и она от него устала. Страшно подумать, что будет, если это бессмысленное хлопанье ей окончательно надоест. Тогда она тихо уйдет под воду и заберет меня с собой.

От этих мыслей начинаются спазмы в желудке, что естественно, так как пропасть между мной и теткой проходит от того места, где положено быть душе, вертикально пересекая желудок. Трещина существует и углубляется с тех пор, как тетка еще школьницей, начала от меня отрешиваться и «выживать», проявляя здоровый инстинкт самосохранения. Как-то я видела по телевизору разлом почвы после землетрясения - с тех пор мне эта трещина так и представляется. А с желудком шутки плохи!...

Желудок все время ест. В нем чудится мне хруст и легкое повизгивание пожираемого. Он ест, а я поправляюсь. Он перемалывает все, что за нашу совместную жизнь в тот разлом

провалилось и стало внутри поперек, чтоб по ночам давить «под ложечкой»...Нет, это только кажется, что я бегаю к холодильнику!

А что, если засунуть туда пальцы? - Я слышала, это помогает, если переел. Уговорили сходить к психотерапевту. Вместе с пальцами...

\* \* \*

## **Копейки со дна ...**

### **В Киеве родился ребенок! Каннибалы, где взять молока??**

Если с самого начала, то я этого начала не помню. Позже я узнала, что папа пригрозил маме разводом, если она прервет беременность. Он вернулся с западного фронта и плевал на трудности гражданской жизни. У него, офицера и военного корреспондента, а затем командующего батальоном женской противовоздушной обороны, оказывается было видение девочки с голубыми глазами и темными локонами . Наверно где-то в кино видел. Заказал - и получил.

Я рождалась тяжело, целых три дня. Мать от собственных криков навсегда оглохла на правое ухо – и совесть должна меня мучить!

Потом я все-таки родилась – серая, беззвучная, с петлей на шее. Меня долго шлепали по голой заднице, держа головой вниз, пока я наконец заорала. Живая!!

Не помню начала... Не помню ни послевоенного лютого голода в Киеве, ни матери с пустой грудью, ни отца с пустыми карманами.

Рассказывали, что в моем 47-м году голод захлестнувший Украину был невероятный. Особенно жутким он был в деревнях, куда не доходило никакое снабжение, а у крестьян последнее отобрали. В отдельных, забытых богом селах, рассеяных по огромным неуродившим землям Украины, люди грызли кору деревьев, а некоторые от голода даже сходили с ума. Рассказывали еще о страшных случаях каннибализма в этих ограбленных властью и затем забытых селах.. В городах было легче, иногда снабжали.

Мамина грудь была без молока...Господи, младенцу хоть бы коровьего пополам с водой дать! Так ведь не только давно всех коров и коз сожрали - в селах за кошками с крысами охотились! В такие годы, наверно, не следует рожать голодных мдаденцев.

Я была очень крикливая - как открыла рот в роддоме, так уже и не закрывала - у меня уже тогда, наверно, болел живот.

Наконец нашли одну родившую дальнюю родственницу с роскошной молочной грудью – она параллельно со своим мальчиком и меня пару месяцев кормила. Дедушка за мои молочные пиршества платил наличными, а то бы - хоть помирай!

### **Ножки-ручки**

Самое раннее воспоминание детства - это мои ноги, свободно парящие в воздухе. Очевидно, мутная картинка запечатлелась, когда мне меняли пеленки.

Вот, минутная свобода – и я размахалась ногами! Потому что пеленали в те времена так туго, что кровь в жилах останавливалась. Запеленутые младенцы были похожи на бруски дерева с красными от криков рожами на концах.

В народе считалось, что если новорожденных туго упаковывать, то у детей не будет кривых ножек – косточки-то еще мягкие! Ничего мол, что мы бедные, зато будем стройные! Спасибо, мама, ноги у меня получились.

Но вот зачем было заодно и ручки намертво пеленать вдоль тела в «смирительную» тряпку, я до сих пор не понимаю.

Хотя, возможно, в этом был другой, глубокий идеологический смысл – младенец уже в пеленках приучался к стойке «смирно», которая заранее готовила его к будущей жизни в стране.

Удивительно, что у нас тогда ножки-ручки вообще не поотваливались!

### **Болезненный ребенок «Бомбовоз»**

Величайшей повседневной мудростью моей еврейской мамы, пережившей с братиком сперва эвакуацию, а затем послевоенный голод, была фраза: «Пока жирный похудеет, худой – сдохнет!». Эта фраза развевалась надо мной государственным флагом все детство.

Я была очень болезненным ребенком и перепуганная мама запихивала в меня при помощи слез, угроз и танцев все питательное, что ей попадалось под руку. На всякий случай!

Сохранилась жуткая и уже посеревшая фотография, где я вся в бантиках, сижу за столом с резиновыми щеками, набитыми кашей, как будто больна двухсторонней «свинкой», и не желаю этот кошмар проглатывать. И чувствуется, что сижу так уже давно. А напротив меня – несчастная мама. И мы обе в слезах.

Я была еще совсем маленькая, но дети во дворе уже дразнили меня «бомбовозом» (слова войны были так свежи!), дразнили потому, что не только суставы пальчиков, но даже мои локотки и коленки исчезали в пухлых ямочках.

Меня лишили углов!

Но я еще не умела обижаться.

## Безденежье и куринные метаморфозы

Папа после войны работал в толстом журнале и паралельно пытался стать великим писателем. Но его рассказы долго никто не хотел печатать.

Мы все четверо жили тогда на его скромную журналистскую зарплату. А в тяжелых случаях нас всегда выручал дедушка Рахмиль, мамин папа.

Порой отец отдалживал деньги у знакомых и не мог вовремя отдать. Помню, как родители однажды боялись открыть дверь этим знакомым и мы все прятались подальше от окон, делая вид, что нас нет дома, а те разозлились и бросили булыжник в окно. Мне было очень страшно и я это запомнила.

А потом мы опять пошли к дедушке и он отдал этим людям папины долги.

Но все безденежье забывалось, когда моя мама творила чудеса с курицей!

Мама одевала цветастое веселое платье и брала меня и брата с собой на Бессарабский базар, где можно было все бесплатно пробовать – и соленую капусту, и домашний творог, и ягоды...

Но официально мы шли за курицей.

Тогда куры покупались в натуральном виде - в оперении, с бурыми гребешками и бородачками, желтыми когтями и полным набором внутренностей. Их маленькие печальные головы с закрытыми глазами болтались на тонкой бледной кожице.

Умело торгуясь, решительно отходя и якобы неохотно возвращаясь, грозя конкуренцией напротив, ощупывая несчастные трупики под перьями, громко сомневаясь в их возрасте и оскорбляя их мясные куринные достоинства, выторговывалась каждая копейка. Это был театр Станиславского!

Дома несчастную ощипывали, ошпаривали, опаливали остатки растительности и тощие когтистые ножки над голубым огнем газовой комфорки. Я любила смотреть, как тонкие ножки, весело потрескивая, теряли свои почерневшие чулки. Затем острые когти отсекались ножом, а самые мягкие перья мылись, сушились и прятались в чулан на будущие подушки. В кухне пахло жженным. Я любила этот вкусный запах и крутилась под ногами вместе с одноглазой кошкой..

В конце концов от всей купленной куриной роскоши на столе оставалось сиротское сизое тельце в пупырышках.

И тут начиналось мамино волшебство, позволяющее семье из четырех человек есть эту несчастную курицу ежедневно в течении недели!

Когда я повзрослела, мама учила меня экономному хозяйству на примере «куриных чудес» детства. Тогда ничего не пропадало зря. И это было настоящее искусство, поэтому я должна об этом подробно написать.

От куриного ощипанного трупика отрезался длинный чулок шеи, кожица тонкая – осторожно! – не порви. Один конец этого шейного «чулка» зашивался суровой ниткой, а через второй мама набивала в шею подсоленную муку, перемешанную с мелко покрошенными луком и куриным жиром, снятым с толстой попки и других «нагулянных» куриных мест. Кожа шеи легко растягивалась в ширину, и вскоре «чулок» превращался в тяжелую бесформенную подушечку. Тогда зашивался второй его конец.

И вот вам – вуаля! – «фаршированная шейка».

Мы ее пекли в духовке или жарили заодно с куриной печеночкой на сковородке - как когда. Этот шейный деликатес делился на всех с предупреждением:

- Осторожно, не подавитесь ниткой!

Сырая грудинка снималась и перекручивалась на котлеты:

- ...и не экономь на булке – яйца все склеют!

Оставшийся безгрудый торс, палку шейных позвонков, крошечное сердечко, очищенный от наклеванных камешков желудок, две жилистые ноги (а если кура была петухом, то и мясистый бурый гребень) – все это укладывалось в большую кастрюлю и заливалось водой.

Вскоре из воды получался душистый куриный бульон с желтыми бляшками для будущего овощного супа, с которого эту неделю будет начинаться наш обед, а вышеперечисленные вываренные части выживались и планировались дальше:

Солидное мясо снималось с костей, а разные косточки с мясными остатками, крылышки, ребрышки, попка, лакомые ноги и внутренняя мелочевка сбрасывались в миску для «детского баловства».

Ела я ребенком не особенно охотно, но это было совсем другое развлечение - можно было стоять у стола и хватать липкими руками, громко сосать, выплевывать обсосанные кости желантиновых ног в пустую тарелку и наслаждаться собственным свинством ...только что не хрюкать! Нарушение правил было куда интереснее самого лакомства.

Тем временем снятое с костей варенное мясо прокручивалось на мясорубке, его выползающие из дырок сухие черви выглядели неаппетитно... Но рядом уже жарился лук и отваривался рис – все это добавлялось к «вареным червям» и – о чудо! – у всех вдруг текли слюнки. В завершение мама жарила тонкие блины, в каждый блин клала столовую ложку этой волшебной начинки и складывала эти блины конвертиками. Блинные конвертики обжаривались на сковородке и подавались к столу облитые сметаной или горячим маслом. Детям по штучке, взрослым – по две. Божественная еда называлась «налистники с курицей».

Словом, эта несчастная курица выходила на сцену стола в разных ролях. Она была множеством куриц. Она погибала не зря!

Важно, чтоб на столе всегда чуть-чуть пахло мясом, говорила мама, тогда и картошка с хлебом становятся вкусными.

### **Старший братик**

Этот придурок стал уже стариком, но злиться на меня до сих пор. Оказывается, с момента моего рождения вся его жизнь пошла наперекосяк.

Будучи более семи лет до моего появления в семье королем вселенной, он рядом с орущей конкуренткой превратился в помеху под ногами. В один день он не только потерял корону и жезл правления, он был сослан... А за что - не понял.

- Она больная, а ты здоровый! Отойди!

Я росла, но не выздоравливала... Когда на столе изредка появлялся кусок шоколада, гроздь винограда или мандаринка – они предназначались только для меня. И если мой братик хватал это лакомство, великий педагог мама у него отбирала и засовывала мне в ротик или в кулачок.

- Это ей! Она ведь маленькая и больная!

Он смотрел, как я жую. Первое время он плакал. Как же ему было такое понять! Он страдал от вопиющей несправедливости, и видел во мне главного врага.

Поэтому, когда мама выходила из комнаты, он силой возвращал себе отобранное и быстро его глотал, не прожевывая, удав! Завершались эти сценки тем, что он больно стучал торцом пальца по моей круглой голове.

Я начинала было орать, но перед носом тутже возникал знакомый кулак с чернильными разводами. А я уже понимала что это значит - за ябедничество получу еще больше! – и замолкала.

Он быстро понял, как вести себя с этой дурой и, когда родителей не было дома, поколачивал меня по любому поводу. Это продолжалось все детство. Я боялась его и молчала, я просто старалась ни в чем ему не перечить.

Хотя братика попрежнему сытно кормили и тепло одевали, им мало интересовались. Потому что он *был здоров!*

Боже, как же он старался заболеть!

### **Забегая вперед**

Мальчик протестовал и топал, он требовал внимания. В юности он мстил родителям тем, что сам себя губил: бросил школу и остался без образования, воровал, попал на два года за решетку... Папа, наконец добившийся на своем писательском поприще относительной известности, постоянно вытаскивал его из каких-то некрасивых историй, чтоб опять не посадили...

Помню, как однажды в период взросления произошла его драка с отцом. Папа, разгневанный поведением сыночка, не в первый раз распустил руки. Но на этот раз мой брат не остался в долгу, и у папы пошла носом кровь.

С тех пор он брата не трогал, но окончательно махнул на него рукой и устремил взгляд надежды на меня, такую голубоглазую – как заказывал.  
Па-апина дочка!

Без законченного школьного образования, мой братец брался за любую работу, жизнь научила его разным ремеслам и руки у него оказались умелые. Вскоре он увлекся колесами и пару десятилетий проработал таксистом.

Он женился, породил дочь, развелся, опять женился, породил еще двоих ..., но все равно продолжал обижаться на жизнь и на всех нас...

Брат всю жизнь уважал только отца (мать давно была уже не в счет), думаю, он его действительно любил и, повзрослев, вновь искал взаимности.

Поэтому он ревновал его ко мне, и не без основания: в то время я закончила в Москве высшую литературную школу, упоенно строчила на портативной пишмашинке и даже публиковалась. Это наполняло отца великой родительской гордостью: девочка вся в меня, талант!

Сыном гордиться не получалось, но он его жалел.

### **И много-много позже ...**

Я уже лет пятнадцать жила в Берлине, когда в самом начале 90-тых мой брат с семьей, а за ними и мама со вторым мужем покинули Украину и переселились в Израиль. Они выбрали холмистый зеленый городок Кармиель недалеко от Ливанской границы – на возвышенности было не так жарко. Там стали взрослыми мои малознакомые племянники, там окончательно постарела мама...

В Израиле брат долго возил солдат автобусом на фронт, и не уставал бурно ссориться с мамой, что уже превратилось в хроническую болезнь. Он дожил до пенсии, до взрослых внуков, но между нами ничего не изменилось - его обиды лишь переместились в другую географическую точку.

Мне, считал он, и сейчас во всем лучше, потому что в Германии жить легче. И так, все по-старому, ему опять чего-то недодали!...

Я нахожусь на расстоянии тысяч километров, и мы тридцать лет не общаемся. Я считаю, что это прекрасный выход из положения!

Мама, древняя 93-летняя старуха, рада-радешенька, когда он приходит ее повидать в доме престарелых. Он с ней строг, с его лица никогда не сходит выражение упрека и она постоянно боится его гнева, но, слава Богу, что он у нее есть!

По субботам я звоню ей, и в сотый раз выслушиваю, как она сокрушается, что ее дети не дружат, что мой толстый, разваливающийся брат, страдающий диабетом и отдышкой, не может даже слышать моего имени. Ей от этого горько, она совсем не понимает причины и плачет...

Ах, мама, ну дала бы ты ему тогда эту проклятую шоколадку и мандарин, ну погладила бы, прижала и выслушала...

Мне бы тоже хватило! Меня и так с утра до вечера тискали в объятьях!

### **Дедушка Рахмиль и сахарные штаны**

Дедушка Рахмиль был мамин папа – толстый, лысый ангел-хранитель семьи нашей. Без его самозабвенной любви к дочери и внукам, нас, может, уже и не было бы.

Помню его, круглолицего, медленно идущего с палочкой, в черной шляпе и в широких черных штанах.

А еще помню как, сидя у стола, он поднял меня к себе на колени, поцеловал в бантики и произнес два слова, которые я вновь через столетия отчетливо слышу: «мейделе...», и после паузы выдохнул: «фишеле...». Почему-то именно это ярко вспомнилось – словно он прикоснулся душой...

Когда он умер мне было семь лет.  
Его, говоря символически, угробил сахар в штанах. Но, по-порядку.

Мой дедушка работал в маленькой продовольственной будочке, стоящей на оживленной площади прямо у входа на Курневский базар. Он и жил в нескольких сотнях метров от этого базара, и занимал с семьей четвертушку покосившегося домика с отдельным выходом и куском огорода.

У дедушки в будке можно было за несколько копеек выпить стреляющей в нос газированной воды с чудесным сиропом. Сперва дедушка наливал на дно тяжелого граненого стакана красный густой сироп, а затем бил по нему колючей водой из большого сифона – и получалось нечто восхитительное, сладко-розовое с пенкой, щиплющее за язык!

Дедушкина будка была государственным киоском с полками, доверху уставленными спиртными напитками разной ударной силы, а также всевозможным бакалейным товаром в жестяных банках и в куляках из грубой бумаги с лиловыми печатями. Было начало 50-х и цунами послевоенного голода уже откатил, слизнув в небытие бесчисленные жизни.

Теперь тесными рядами до потолка поднимались макароны, сахар, различные крупы, цветные леденцы, веселые шоколадки; а между ними возвышались пирамидки из кирпичиков серого вонючего хозяйственного мыла (они всегда наводят меня на ужасные мысли о бездомных собаках), а также прочей радости домашних хозяек, посетительниц оживленного базара.

Дедушке в киоске не приходилось особо двигаться, там и места для двиганья не было. Помню, он походил на монументальную колонну посреди всей этой продовольственной роскоши, и казалось на него опирается сама будка. Он только руки протягивал, доставал, наливал, клацал деревянными счетами и сдачу давал. Так стоял он там годами за скромную зарплату, снабжал народ необходимым товаром и новостями, не попавшими в газету, давал мудрые советы, когда спрашивали. Словом, был дедушка Рахмилъ важной в округе персоной, и знали его абсолютно все.

Товар он получал с государственного склада и деньги за проданное отдавал государству. Он умело вел книги, товар не воровал, но он был хитрый и придумал себе свой параллельный бизнес в киоске, который в тяжелые годы спасал всю семью.

Мой дедушка пошил себе широкие штаны, потому что умел считать!

Ему было ясно, что сироп для газированной воды продается намного дороже сахара, из которого он сварен. И он знал, что ему следует делать.

Со временем все привыкли, что Рахмилъ ходит в широченных штанах, и это уже никого не удивляло. Никто не смог заподозрить, что изнутри в штанины вшиты большие мешкообразные карманы, в которые систематически засыпались килограммы сахарного песка.

Хитрый дедушка платил государству за взятый сахар, будто бы он его продал, и тайно выносил его из киоска в штанах. Весь базарный люд мог бы под присягой засвидетельствовать, что выходит дедушка из будки всегда с пустыми руками. Широкие штаны должны были оградить его от доносов завистников, заряющихся на его замечательное место в продовольственной точке у базара.

Дома он варил из этого сахара свой собственный сироп, куда лучше фабричного, и продавал его затем с газированной водой в будке. За сахар было уплачено, и государство оставалось равнодушным к тому, что поставки складского сиропа в киоск крепко сократились. Ну мало спроса, что поделаешь! Зато сахар идет хорошо.

И до войны, и после войны этот его сироп держал всю семью на плаву. Сироп оплатил не только кормящую грудь для голодной внучки, но и последующие долги начинающего писателя.

На себя самого дедушка почти не тратился, жил очень скромно и носил свое зимнее пальто, говорила мама, четверть века, благо всегда был одинаково толстым - он только его однажды перелицовал и потертый воротник сменил... Но когда немецкие войска входили в Киев, дедушка не раздумывая выложил целое состояние за лошадинную подводу, и смог в последний момент вывезти мою мать с маленьким братом из города. При царящем тогда в Киеве хаосе и панике это граничило с чудом. Папе надо было на фронт, и дедушка взял эвакуацию его семьи на себя. А то не избежать бы им Бабьего Яра...

Сахар, сахар!... Наверно он видел этот сахар и во сне.. Сахар стал символом дедушкиной жизни. И смерти.

Умер дедушка от тяжелой формы сахарной болезни в середине 50-ых.. Тогда еще не знали инсулина...

\* \* \*

Прошло более полувека, и я совсем позабыла о нем и о его киоске, я ведь была тогда еще маленькая.

Но пару лет назад, лежа с книжкой на диване в свой Шарлоттенбургской квартире, и не имея никаких потусторонних мыслей, я ощутила внезапное прикосновение к моему лицу, возникшее из ниоткуда. Вроде меня медленно и ласково погладили по щеке. Это ощущение было таким реальным, что моя щека чувствует его до сих пор: «Мейделе... Фишеле...». - А больше ведь некому!

### **Сима и ее страшная тайна**

Наша бабушка Сима! Самоотверженная мамина мачеха. После смерти горячо любимой жены Ханны, а та умерла молодой, остался мой будущий дедушка Рахмиль один с двумя подростками: дочкой и сыном.

Он женился вторично ради детей, взяв в жены тихую круглую сироту Серафиму, нашу Симу.

Сима была и тогда неяркая, глубоко набожная старая дева лет за тридцать, и она растила ему детей. Ведь для этого он на ней и женился.

Когда дедушкин сын в самом начале войны пропал без вести, а потом в середине 50-х умер и сам дедушка, осталась в Симиной жизни только мама. И Сима посвятила всю себя нам, единственной своей семье, хоть и не родственникам. Более преданного человека невозможно было себе представить. Она любила нас, как дышала, она отдавала себя с радостью и мы, не задумываясь, брали: Сима была нечто само собой разумеющееся, была наша собственная. Хотя так и осталась чужой.

Сима продолжала жить в домике дедушки и ездила в центр города помогать маме по хозяйству. Я помню, в Пасху она делала мацу, спешила с ней в синагогу и потом приносила нам. Она была едипственной верующей в семье.

Любое вероисповедание считалось в те годы чем-то постыдным и глупым, над ним официально смеялись. К Симиной вере мы тоже относились с иронией, но старались ее не обижать, и мацу ели.

Так вот однажды эта чудесная наша Сима меня, десятимесячную, похитила - вроде как погулять с коляской пошла - и через пару часов вернула... А где была – молчок! Она всех нас обхитрила и была собой довольна.

Целых десять лет она скрывала свою тайну, пока как-то случайно не проговорилась маме. Мама тут же загнала ее в угол и вытрясла из несчастной всю правду.

Оказалось, что младенцем понесла меня Сима к своему раввину и что записана я с тех пор в книге Киевской синагоги под именем Рысь\*.

- Какое счастье, что у нас девочка, - ужасалась мать, - а то Сима заодно ребенка бы и обрезала!..

Разразившийся скандал я немножко помню, я была тогда уже в четвертом классе. Посеревший лицом папа сказал шипящим голосом, что сейчас оторвет ей голову. Конечно, он этого не сделал, но бабушка Сима плакала и дрожала.

Почему мой папа так перепугался?

Да если обо всем этом станет кому-то известно - ему конец, всем нам крышка!

На нем не должно быть ни пятнышка, ни малейшей тени - а эта старая дура одним махом губит всю семью!

Разве нам, идиотам, не ясно, что он работает редактором большого идеологического журнала и пропагандирует атеизм, ааа-тее-ииизм! Что он - член Компартии! Кроме того, будучи по паспорту евреем, он делает литературную карьеру на антисемитской Украине! Он достиг того, что его произведения начали наконец печатать, благодаря кропотливому труду и нужным, годами взлелеянным и «подкормленным» связям! И так далее...

Не жившему в те годы в Стране Советов, будет, наверно, трудно это понять.

Папа дергался несколько месяцев и все старались не дышать...

Но, Бог милостив, о синагоге и Рыси никто не пронюхал и не донес.

А Сима с тех пор обходила папу по большой дуге.

Однажды мама сказала, что Сима серьезно больна... Кажется, она ездила к ней в больницу, не помню...

И не знаю, когда та ушла из жизни, она это сделала так же незаметно, как и жила... В моей памяти остался только маленький силуэт без лица. Может где-то и завалялась фотография, надо поискать.

Мне несколько стыдно признаться, но когда я пытаюсь о ней вспомнить, густой бой больших дедушкиных стоячих часов с шикарным маятником вытесняет ее тихий и кроткий образ.  
А была ли Сима вообще?..

### **Гимн краю чудес!**

Если считать, что вращающийся вокруг меня родительский мир, состоит из двух полушарий, то все мои сомнительные наследственные качества всегда приписывались половине противоположной. А положительные - явные и предполагаемые - наоборот. Таковы уж законы природы...

- И откуда все это берется?! – всплескивала руками мать, сокрушаясь как над моим плачевным здоровьем, так и над внезапными уголовными наклонностями юного братца.

Некоторые истоки удавалось все же проследить...  
Например, было неоспоримо, что источником всех талантов и творческого потенциала в нашей семье был дед Леня, отец моего папы. И был он единственным в семье голубоглазым...

Этот мой дед жил в районном городке Полтавской области.  
На самом же деле этот городок, являлся большой зазнавшейся деревней, где по пыльным земляным улицам бродили непуганные куры...  
Название этой дыры районного значения было тоже не слишком салонным, оно было производным от слова, означающего собачьего самца, которое чаще всего употреблялось в ругательном смысле - так в народе называли особо похотливых представителей мужского пола..

Но, несмотря на дурацкое название, повод зазнаваться у этого населенного пункта действительно был. Вместо того, чтоб разводить свиней и глушить водку, как все нормальные люди в провинции, здешние жители проявляли творческие амбиции.

Этот кусочек Полтавской области породил, согласно статистике, такое количество талантливой интеллигенции: писателей, художников, композиторов, актеров и других деятелей культуры, а также светил медицины и прочих нужных человечеству наук, что их всех вместе хватило бы, наверно, для образования крепкой элитарной прослойки маленького европейского государства.

Лезу, праздно любопытствуя, в интернет и узнаю, что в начале 80-ых в этом городишке был открыт Музей литературы и искусства с двумя тысячами экспонатов.  
Ну и деревня!..

Даже удивительно, что соответствующие органы еще не бросились изучать этот феномен: могли бы проверить почву на разные там аномалии, что там, например, происходит с магнитными полями или с радиацией. И состав воды проверить...

И если причина в воде – раздавать воду Полтавской области всем бесталанным и скучным – пусть хоть картины пишут!

Словом, не удивительно, что дед Леня, житель этих краев, был фотографом-художником, а его сын-школьник мечтал стать знаменитым писателем.

Когда-нибудь он им будет, верил мальчик, стоя на окраине, где начинались поля, и лихо, по-местному сморкался вдаль, закрывая одну ноздрю пальцем.

Носовым платком он когда-нибудь тоже научится пользоваться...

После школы папа уехал в столицу изучать украинскую филологию.

Заканчивая Киевский Университет, он женился на дочери Рахмиля и сотворил моего брата... А там - началась война...

### **Самозабвенный фотограф**

Гостить к деду Лене и толстенькой бабе Оле, которая следов во мне не оставила, мы отправились летом 51-го года.

Довольно большая белая мазанка традиционно крытая соломой, заборчики, выскакивающие из кустов, калитка без задвижки, взрослому по пояс... Бесчисленные тропы терялись в высокой траве с вкрапленными полевыми цветами, и в солнечных кустах сидели умывающиеся кошки... Ах, какие мотивы для украинских живописцев «идильщиков»!

Там и отметили мой четвертый день рождения, вкусно и с подарками.

Конечно дед дорвался и фотографировал нас в хвост и в гриву, и у него на лице было разлито счастье и творческое воодушевление. Он мучил снимками всю семью, которая наконец попала в руки, и это длилось часами. Но особенно замучил он меня, бедного ребенка, не умеющего спокойно сидеть.

Он засовывал в черную коробку какие-то пластины, исчезал за ней с головой под большой тряпкой, потом выскакивал оттуда как черт из табакерки, суетился, поправляя мои руки-ноги-платье-банты, и освещал разными лампами. Время от времени он требовал от меня улыбки и чем-то вспыхивал, но смысла его действий я, конечно, не понимала...

Помню, что он иногда торжественно снимал колпачек с трубки впереди коробки, но обещанная птичка из нее никогда не вылетала, и я заподозрила, что она умерла в этом черном ящике, в котором, наверно, не было воздуха... Когда я поделилась с бабушкой этой страшной догадкой, а он, занятый делом, меня не понял, я горько расплакалась...

На этом и закончилось мое первое сознательное знакомство с фотоаппаратом.

Запомнился мне еще один эпизод, потому что папа о нем умиленно рассказывал долгие годы:

Как-то в то лето дал мне дед Леня очень твердый карандаш и посадил перед страшным черным лицом на пластине в прикрученной к столу рамке. А за рамкой горела лампочка и просвечивала это черное лицо. И я, ничего толком не понимая, сделала так, как велел дедушка - я замазала карандашом пару светящихся точек на непонятной картинке, восхитив всю семью: надо же, ребенку четыре года, а уже ретуширует негативы!

Нахожу на полках мой переполненный и беспорядочный фотоальбом и освежаю память... Вот мы все напряженно смотрим с фотографий деда 51-го года: папа с ужасными усами и суровым взглядом, итальянский красавчик - брат, ему одиннадцать и он очень похож на

маму. Вот и сама мама, молодая и сдобная, с кокетливой прической и крупными цветами на крепдешинном платье.

Белые поля фотографий обрезаны по краю красивыми зубцами – у деда Лени была такая восхитительная режущая машинка!

Ну и конечно же в альбоме великое множество меня с неизменным «локоном страсти», как его называла мама. Этот мой завиток мать обожала, подкручивала его на указательный палец и, нагнувшись, приклеивала бедному ребенку ко лбу!

И вот я с наслюенным роковым локоном повторялась на фоне задрапированного бархата, большой «греческой» вазы, а еще и на фоне фанерной ширмы с горными вершинами. Я училась позировать, деля кресло со своими новыми подарками, с которыми ни за что не желала расставаться! Поэтому мы все вместе – четырехлетняя девочка, ее деревянная свинья на велосипеде, большая полосатая юла, мяч и тряпичная кукла – увековечены в этих шедеврах черно-белого времени! Но и они постепенно бледнеют, как и мои воспоминания.

В этом же фотоальбоме я наталкиваюсь на стопку самодельных открыток – поздравлений к Новому Году, отпечатанных на глянцевой фотобумаге. Это наивные фотоколлажи: на одном нарисован Московский Кремль, на курантах – полночь, а из-за курантов выглядывают лица дедушки и бабушки, будто говорящие нам: «С Новым Годом!», или вот – торжественная елка со снежными шапками, она сияет звездной верхушкой, под ней радостный Дед Мороз открывает мешок, полный подарков, и опять рядом с ним – дедушка с бабушкой ... Их фотографические изображения переходили в рисунки. Здесь были красиво выписанные даты разных 50-ых годов, а также пожелания мира, здоровья и счастья...

В те докомпьютерные времена делать такие фотоколлажи было совсем не просто. И пусть провинциальные завитушки вызывают сегодня улыбку, но тогда это было в моде времени и от всей души.

Где-то в 60-ых экспериментаторству деда пришел конец, его судьба повернула выключатель, и он начал стремительно слепнуть. И ничего тогда против этого нельзя было сделать...

Так задолго до смерти у деда Лени был отнят смысл жизни. Доживал он с бабушкой у своей старшей дочери, огражденный от всех нас собственной реальностью и виденьем мира.

### **Но еще была загадка Коперника**

Здесь я продолжу разговор о наследственности...

Внешностью мой папа пошел в свою мать, да и на бумаге ничего, кроме слов, рисовать не умел. Но творческий пыл он все-таки унаследовал от родителя Лени.

Во мне же этот далекий и малознакомый мне дед, перепрыгнув через поколение, устроился основательно. Он одарил меня изобразительными талантами и необычно светлыми голубыми глазами, отчего ходят злые слухи, что я ношу цветные контактные линзы.. Вдобавок к странному цвету я получила от него и зрачки, размером с точки, и вопросы об употреблении наркотиков уже давно перевожу в шутки... Кто-то мне однажды сказал: «Отвернись! Смотришь, как гвозди забиваешь!»

Больше никого в семье не угораздило унаследовать это непонятное «голубоглазие», хотя имел он троих детей и множество внуков.

В молодости меня иногда просили попозировать для портретов приятели-художники, что обычно заканчивалось всеобщим недоумением... А однажды даже один довольно известный ереванский скульптор весь истерзался, пытаясь уловить нечто за чертами моего лица, потому что под его пальцами постоянно рождалось лицо Николая Коперника с моей челкой.

На всех рисунках и в гипсовых портретах неизменно возникал осточертевший мне Коперник – как будто все против меня сговорились.

Разозлившись, я уселась перед зеркалом и, как смогла, написала свой автопортрет, и опять все сказали, что это Коперник... Живьем-то я совершенно на него не похожа, что за чертовщина!

\* \* \*

Как-то несколько лет назад у меня возникла смутная догадка и я решила ее проверить. Я дегитализировала старый портрет деда Лени, увеличила и впервые в жизни внимательно рассмотрела.

Я видела деда Леню только пару раз ребенком и позже никогда не всматривалась в его изображения. Я воспринимала деда в целом: худощавый, совершенно лысый, отражающий острой макушкой свет. Цвет его бывших волос был мне неизвестен.

Если Киевский дед Рахмилль голову просто брил «чтоб дышала», то в лысине фотографа угадывалась ее естественное состояние.

Итак, я загнала деда в компьютер, и с монитора на меня уставился его пронзительный и совсем прозрачный взгляд. Я даже поежилась от этого взгляда, как от сквозняка.

И тут последовало задуманное мной «фотошоповское» кощунство: скопировав с моей фотографии прическу с неизменной челкой, я водрузила ее на лысину деда, и захрюкала от радости – получилась я... Малость подпорченная и омужичинная тестостероном, но несомненно – я!

Тайна моих неудавшихся портретов была разгадана: из-под моей челки на меня смотрел Коперник!

### **Коммуналка**

Исчезает феномен больших коммунальных квартир... Слава богу, о чем же тут грустить! Но воспоминания о первой коммуналке детства имеют свою неповторимую романтику. Особенно при мысли, что временные ниточки окончательно оборваны, что даже если я сейчас сяду в самолет, прилечу в Киев и прикоснусь рукой к стене подъезда того дома, ощущений детства не вернуть. Пусть даже все осталось бы то же самое, только я - другая. Посему нет смысла туда лететь и ко всему этому прикасаться, разрушая иллюзорные картинки моего детства наложением реальности...

...Киев был разбомблен, повсюду руины, и получить в столице хоть какое жилье было невозможно! Но нам повезло, благодаря папиной работе в журнале наша семья из четырех человек получает одну большую комнату в коммунальной квартире.

Эта квартира растянулась на все правое крыло второго этажа дома - высоченные потолки со щедрой художественной лепкой, роскошный дубовый паркет... Очевидно до революции

в ней проживала какая-нибудь знатная семья с многочисленной прислугой: Сейчас в ней обитало вместе с нами 23 человека. Это много, но мы были наконец под собственной крышей и не надо было вчетвером «сидеть на голове» у дедушки Рахмиля.

Это было важное для меня время. Многое из той жизни я поняла, когда стала старше. Но меня удивляет выборочность памяти: я отчетливо вижу кладовки и расписание дежурств на стенке, старательно выписанное чьей-то детской рукой, весь наш быт и порядок, но ни одного лица не помню, все конкретные люди – старушки, ребята, чиновники, чьи-то жены... - в памяти стерлись. И хоть не нужны они мне, ни их лица, ни имена, но все это очень странно...

В этой квартире я вышла из пеленок, научилась ходить и жила до шести с половиной лет, Правда жила с перерывами, поскольку меня пару раз в году отправляли спасать в больницу и на всякие там обследования. Длилась больница в среднем по месяцу-полтора. Я к этому привыкла и была в клиниках тоже почти как дома. Но об этом позже.

В этой нашей необъятной квартире было легко прятаться – в ней было много дверей, поворотов и темных кладовок со всякими вениками, ведрами, цинковыми корытами, стиральными досками, раскладными лестницами и прочей взрослой утвари. Когда наступали зимние холода, квартирная детвора играла здесь в прятки и с воплями носилась по коридорам.

На всех соседей была здесь одна большая кухня с тремя газовыми плитами, четырьмя обновленными масляной краской и клеенкой шкафчиками и с железной эмалированной раковиной под коротким краном с ледяной водой.

Каждый кухонный шкафчик делили между собой несколько хозяек, которые договаривались не совпадать во времени, и когда мы въехали в нашу комнату, нам тоже назначили время готовки обедов, выделили пару газовых конфорок, и часть шкафчика-стола.

В кухне на куске одеяла жила нечейная одноглазая, но зоркая кошка. Кошка без имени. Ее сюда поселили, чтоб по ночам мышей ловила!

И ей приходилось ловить, потому что, хотя она и терлась о все ноги, кормили ее крайне редко. Считалось: незачем ее кормить, пусть мышей жрет!

Но порой выпьет кто из соседей горькой, разжалобится и даст «божьей твари» кусочек своей закуски, или детишки ложку каши с тарелки сбросят. Эта кошка жрала все - и засохший хлеб, и сырые картофельные очистки, и квашенные огурцы... А порой убегала на пару дней куда-то в город.

Голодная была!

А если порой рожала она котят, то они тут же куда-то исчезали, и дети во дворе рассказывали, что их всегда еще слепыми топят в мешочке с камнем.

Поэтому умная кошка научилась дома не рожать и пропадала где-то в кустах по неделям, чтоб у нее детей не отобрали. А через месяц-другой на тротуаре перед домом весело суетились бездомные комочки меха, умиляя прохожих.

Кроме кошки жили на кухне еще и рыжие полупрозрачные, очень быстрые тараканы, которых называли прусаками, хотя были они местными и не о никакой Пруссии понятия не имели. Это были настоящие патриоты - они и в голодуху пустые шкафчики не покидали.

«Черный ход» из кухни вел на мрачную гранитную лестницу, по которой хозяйки выносили во двор мусорные ведра. При царе-горохе эта лестница предназначалась для прислуги. Она плохо освещалась, и вечерами там по углам всегда чудились привидения,

Нашу фамилию внесли во все списки дежурств по уборке мест общего пользования. А еще ее вписали рядом с одним из звонков, приколоченных в нестройный ряд на красивой входной двери, Дверь эта, как и все другие в доме, была украшена сложной старинной резьбой, не имеющей практического применения в мире пролетариата и поэтому ее при ремонте покрыли слоем серой «масляной» краски.

Приходящие к нам гости должны были нажимать на кнопку звонка по коду. Два длинных + три коротких, и это значило - к нам. К каждому жильцу надо было звонить по-другому, например, к какой-нибудь тете Маше: один короткий + один длинный + два коротких... А несколько звонков с фамилиями возникли потому, что квартира была очень большая и живущие далеко от входной двери пристраивали свой личный звон поближе к комнате, иначе не слышали.

Когда раздавался первый пронзительный звук, все соседи замирали на полуслове и начинали считать «короткие» и «длинные» - кому бежать открывать дверь? Жизнь была прекрасно организована.

Достопримечательна была и туалетная комната – одна на всех.

Там находился наш общий унитаз, аккуратно порезанная квадратиками газета в деревянном кармашке и старая круглая щетка в ведре, к которой мама запрещала мне и брату прикасаться. А на стенах в два ряда висели разномастные деревянные сидения для унитаза с автографами владельцев.

Если в какую-то из семей приходили гости и просились в туалет, их туда сопровождали и выдавали соответственный «семейный круг» с просьбой повесить потом на место. А с вонью боролись очень просто – жгли кусок бумаги.

Бывало кто-нибудь из квартирных мужиков, удрав от жены и рева детей, находил себе здесь хоть ненадолго тихое пристанище, шелестя распахнутой газетой. Но занимать единственный унитаз для чтения не позволялось, и уже через несколько минут в дверь начинали раздраженно стучать кулаком.

Но настоящий стресс перед туалетной дверью, а также перед дверью в ванную комнату к умывальнику был только по утрам. Тогда здесь выстраивалась очередь неврастенников, сжимающих полотенца и зубные щетки и опаздывающих на работу. В это время чуть что возникал скандал, и в него вовлекались абсолютно все в коридоре, что помогало квартире окончательно проснуться.

Почти все в квартире делилось, но только у нас в комнате висел на стене личный черный телефон с отдельным номером. Это папе, как журналисту, льготно поставили. А для всех остальных жильцов был общий аппарат в коридоре. Но на этом наши привилегии и заканчивались.

### **Надо жить чистыми!**

Газовая колонка в ванной комнате была вечно поломана и никто ее не чинил. Поэтому в квартире была только холодная вода. А когда стояли лютые февральские морозы, кран

выдавал тонкую струйку и плевался кусочками льда. Такое утреннее умывание очень бодрило, но у всех зимой были покрасневшие руки и ныли пальцы.

По-человечески мыться и париться жильцы ходили в городскую баню поблизости. Только маленьких детей купали дома в цинковом корытце, которое висело на стене над большой эмалированной ванной. Для этого нагревалась вода в жестяной кастрюле высотой с двухлетнего ребенка. А если в кастрюле как раз кто-то кипятил постельное белье, помешивая сие варево палкой, то на газ ставили два огромных жестяных ведра. Выход из положения всегда находился.

Я любила сидеть в теплой мыльной воде – эта цинковая ванночка выглядела точно так, как и моя игрушечная, в которой сидела любимая кукла-голыш Ляля. Мама купала меня, а я в это время купала Лялю в ее собственном корытце. Потом нас обеих, поставив на ножки, обливали чистой водой из кувшина, укутывали полотенцем и несли спать. Это было так хорошо!

Дни обычной стирки тоже были расписаны, и когда приходила мамина очередь, с крюка в кладовой снималось круглое и необъятное, как мне тогда казалось, корыто и метровая стиральная доска со множеством ребрышек. Жестяное корыто это ставилось на большой табурет посреди кухни так, что все жильцы могли ходить вокруг него, занимаясь своими делами.

Механика стирки в те времена была такая: нагревалась на плите в той же неизменной кастрюльке и в ведрах вода, залитое ею белье в корыте натиралось куском остро пахнущего «хозяйственного» мыла (опять жуткие мысли о бродячих собаках!) и «замачивалось».

Через пару часов белье «отмокало», в корыто доливалась горячая вода и начиналась основная стирка на ребрах доски. При этом оттиралась не только грязь от белья, но казалось и бедная кожа маминых пальцев! Это длилось часами: мама взвивалась и металась над этим корытом, красная и мокрая, волосы ее были растрепаны а руки с куском серого мыла с остервенением били по комам ткани, которые она выуживала частями из темной затхлой воды на ребристую доску. Из корыта прямо ей в лицо поднимался мыльный пар... уфф!

Потом все постиранное много раз полоскалось в холодной воде большой эмалированной ванны, которую только для того и пользовали.

Слив последнюю совсем чистую воду, мама сворачивала тяжелые, истекающие ручьями ткани в тугие жгуты и из них выкручивалась почти вся вода... После этого все тяжелое становилось легким, укладывалось в тазы и выносилось по «черному ходу» на задний двор. А там сырое белье распяливалось мамой на бесконечных бельевых веревках... Я следовала за ее юбкой вдоль веревок, держа жестяную коробку из-под мятных пряников, в которой мы хранили деревянные прищепки. Подавать маме прищепки было очень важным заданием, я им гордилась.

Маму шатало от усталости, но она еще прибирала место стирки в кухне, мыла корыто и вешала его на крюк. В квартире строго соблюдали порядок.

Если была зима, мокрое белье хоть и сохло, но замерзало до состояния фанеры, а когда его потом приносили со двора, оно скрипело и еще долго стояло торчком. Казалось, от него можно было просто отломить кусок, как от печенья.. Когда белье наконец оттаивало, я

обожала его нюхать: оно головокружительно пахло морозным воздухом и наполняло все вокруг вкусной свежестью.

Наш круглый обеденный стол под абажуром покрывали тогда старым летним одеялом и приходило время двух чугунных утюгов.

Мама была очень сильная, хотя в молодости у нее, как говорил папа, и была «осинная талия». Она рассказывала, что занималась перед войной спортивной гимнастикой и, когда «строили пирамиды», была всегда нижней, держа фигуру из пяти-шести девочек на своих плечах... Во как!...

Мама гладила тяжеленным черным утюгом и опять становилась вся красная. Сверкали накрахмаленные воротнички папиных рубашек, освещая изнутри старый шкаф своим праздничным рядом... Мама рисовала утюгом четкие складки на мужниных выходных брюках, защищая их шерсть от жара влажной хлопковой тряпкой, на которую то и дело фыркала, набирая воду в рот... Второй утюг в это время раскалялся в кухне на газовой плите. Потом они менялись местами, и, схватив с огня накалившийся, мама неслась с ним в комнату. Тогда вдоль всего длинного коридора неслось ее звонкое: «С дороги!...» Через какое-то время утюги опять менялись местами, и все это длилось, казалось, до бесконечности...

В те времена домашней хозяйке показалось бы верхом идиотизма специально заняться фитнесом.

Я, маленькая, с любопытством ко всему присматривалась и научилась у мамы смешно фыркать водой на пересохшее белье, чтобы оно легче гладилось!  
Я до сих пор умею фыркать на белье, хотя мой современный утюг делает это куда лучше меня.

### **На горшке**

Я многое узнала впоследствии из маминых рассказов и это помогло мне наполнить смыслом и выстроить в ряд туманные картинки раннего детства. Например, вечернее подглядывание в щелку ширмы и ...

...Так как у нас на четверых была тогда лишь одна комната, очень важным и нужным предметом в ней была ширма. На ее четырех деревянных рамах была натянута присобранная толстая ткань, отгораживающая вечером нас, спящих детей, от взрослого мира и сияющего в нем шелкового кремового абажура над столом. Его длинная бахрома бросала вокруг стола похожие на лапшу тени.

Тяжелую ширму вечером раздвигали и ставили стеной - одним концом вплотную к моей кровати, а вторым – к изголовью диванчика, на котором спал брат. Он ложился позже меня, но раньше родителей.

Я очень любила перед сном подсматривать через щелку между рамой и тканью ширмы в запретный мир бодрствующих: и что они там делают?.. Особенно было интересно, когда вечером к родителям приходили знакомые и считалось, что дети уже давно крепко спят. Мы тогда и были приучены спать в любой обстановке.

Взрослые тихонько беседовали, и угощались за круглым столом в другом конце комнаты, и меня тянуло, конечно, не ко сну, а к обществу. Поэтому как только все садились за стол и начинали наполнять свои тарелки, моя маленькая душа тут же требовала к себе внимания. Мне так хотелось хоть пару минут приобщиться к яркому свету в их взрослом позднем времени. Я начинала ныть, звать маму и проситься на горшок «по-большому». И я знала, что ночью меня в общий туалет не выставят и на горшке без присмотра не оставят.

Наконец меня выносят в светлый мир комнаты, и я, расположившись у всех на виду в своем эмалированном горшке, словно цветочек в вазоне, радостно улыбаюсь во все щеки, готовая в любую минуту заблагодарить. Все почему-то перестают есть, откладывают свои вилки и говорят, мол, какая у вас славная девочка, ах-ах! А сами, наверняка, думают: «дитя малое, дурное, чего с него взять...»

Все смотрят на меня и отец неуверенно говорит маме:

- Может откроем форточку, проветрить...

А мама ему:

- Да ничего она там не делает, притворяется, спать не хочет, - и мама сдергивает меня, разоблаченную, с горшка и несет в темноту за ширму, - вот разгулялась... Спи!

Я не раз проделывала этот «какашкин» номер, портя всем аппетит, и мне почему-то всякий раз верили...

Кончилось тем, что мама начала сажать меня перед сном на горшок чуть ли не на час – на всякий случай! И это означало, что сегодня вечером к нам придут гости.

Постоянно сидеть на горшке без дела было скучно, он за час еще и больно прилипал к попе.

И какие бы потом не приходили гости, желание еще раз на него попроситься у этого ребенка больше не возникало!

### **Жертвы революции**

Находилась наша квартира в красивом доме на исторической улице рядом с бело-голубой Андреевской церковью гениального Растрелли и, как позже выяснилось, совсем близко от дома Михаила Булгакова на Андреевском спуске, но о нем в те годы еще умалчивали.

Наша улица называлась долгие годы почему-то «Улицей Жертв Революции»

Вот придумал же какой-то debil с похмелья!

Кто же был этими жертвами революции, товарищи, кто от нее пострадал?

Кому, дорогие советские граждане, вы улицу -то посвятили: батюшке-царю, буржуазии или белогвардейцам?...

А может под этими «жертвами революции» сам народ имелся ввиду? Ну, тогда это было бы ближе к правде...

Словом, с какой стороны не ухвати, получалось ооочень некрасиво.

А с политической точки зрения - просто скандал!..

Но этого почему-то годами никто не замечал.

Переименовали улицу много лет позже, когда у кого-то из городских властей пряснилось в голове.

## **Сталинград**

В самом конце 52-го года папу откомандировали от журнала в Сталинград, и мы все четверо жили там до середины весны в бревенчатой избе у легендарного бугра - той самой «102 высоты», о которую споткнулась война. Бугор этот потом назвали Мамаевым Курганом.

Мы снимали частным образом избу в две комнаты с большой печкой, а обнищавшая хозяйская семья со всей своей многочисленной ребятней, радуясь нам, постояльцам и хоть каким-то деньгам, перебралась в подвал избы под высоким крыльцом. Они зарылись словно кроты в землю, благо мужик, рубя себе дом, про подвал не забыл. И чтобы постояльцев, совесть не мучала, хозяин, дядя Вася, все твердил, что под землей им даже теплее, чем наверху, да и «буржуйка» там есть!

Вернувшись в середине войны с фронта инвалидом, он работал на какой-то фабрике, а на досуге мастерил детям из дерева замечательные игрушки или находился в запое. По утрам он хромал со своей лопатой к узким, словно прищуренным, оконцам подвала и отгребал от них выпавший за ночь снег, чтобы внизу его детям было светло. Они с хозяйкой нарожали шестерых детей – мал мала меньше, словно бросились воспроизводить поредевший после войны народ.

Хозяйку нашу звали Мария, или просто - тетя Маша. У нее от постоянного рожания (о чем я, конечно, в том возрасте понятия не имела) был толстый вспученный живот с красным кривым шрамом. Шрам она нам с мамой сразу же, в день приезда - как «тоже девочкам!» - и показала: ей только месяц как вырезали желчный пузырь.

Мария была большая, розоволицая и красивая, как матрешка, но во рту у нее был ряд железных зубов, отчего я ее первое время боялась и пряталась за маму. Хозяйка же оказалась доброй и очень сильной - таскала нам из колодца тяжелые ведра с водой - водопровода-то в избе не было.

Но когда верх воды в колодце замерзал, то, спеша приготовить обед и не желая возиться с колом, мама часто просто загребала кастрюлей из сугроба свежесвыпавший вкусный снег, растапливала его и кипятила в печи.

## **«Снегурочки»**

Мы по тем временам ели досыта, конечно же, потому, что у папы была приличная работа, а мама умела творить чудеса, как в той сказке «Суп из топора»...

Но хозяйская семья в подвале жила чуть ли не впроголодь – ели хлеб с кашей да кашу с хлебом, и то не досыта. А когда у них в день дядь-Васиной зарплаты тоненькими ломтиками резали брусок твердого посоленного сала – то это был большой праздник. Детишки сало не ели, его лизали, растягивая сказочное удовольствие и смакуя всеми данными Богом чувствами!

А еще Мария радовалась, когда мама картошку покупала - картошка была дорогая, хоть примороженная и оттого сладкая на вкус. Тогда хозяйка присылала к нам дочку за картофельными очистками, «чтоб добру не пропадать!», тщательно их мыла и варила детям картофельный суп. Маме от этого было ужасно совестно, она их жалела - то пару

яиц подарит, то - свеклу на борщ... Но там было восемь ртов, а наш папа зарабатывал только на нас четверых.

Варить тетя Маша приходила к нам наверх – здесь была всегда пышущая жаром русская беленная печь с двумя большими дырками – внизу для дров, а над ней – для кострюль и сковород, которые засовывались туда и вынимались ухватом – палкой с рогами, точно такими как на картинке у коровы. Печь круглосуточно подкармливали пахучими дровами, благо лес был рядом... Распиленные круглые и смолянистые брусочки стволов были сложены за домом, и хозяин колот их для нас на мелкие дрова и растопную щепу, потому что папа, хоть и вырос в сельской местности, с топором обращаться не умел.

Если дядя Вася был трезвый, то был веселый, и мы, дети ждали, когда он пойдет за дом в своей серой телогрейке, которая была полна непонятных запахов даже на морозе. Он выходил на утопанный снежный круг, усыпанный мелкими щепками и начинал махать топором. Завидев нас, он откладывал топор, закуривал свою вкусную махорочную самокрутку и заговорщически подмигивал. У него всегда было готово для нас что-нибудь смешное, хоть прибаутка, хоть гримасса, - он ведь знал, что мы, ребятня, за этим сюда прибежим.

Дядя Вася любил дерево и детвору, и как-то смастерил своей дочке Ане, моей одногодке и лучшей подружке, деревянные коньки с закрученными кренделями носами – это были «Снегурочки» красоты необыкновенной!

Он сделал их по фотографии из глянцевого журнала. Разница была только в том, что в журнале «Снегурочки» были стальными, а эти – дубовыми и привязывались веревкой. Встретив мой восхищенно-завистливый взгляд, щедрая душа Аня тут же отвязала от валенка один конек и протянула мне. Так мы целый день вдвоем и катались, вернее елозили по снегу, держась за руки. Каждая скользила на одной ноге, отталкиваясь второй, и удовольствие от такого катания состояло в том, что мы были вместе и сияло солнце. Лучшей подружки, чем Аня, нет на свете!

### **Так и жили!**

Туалета в избе тоже не было, вместо него была дощатая будка за домом с ужасной дырой, над которой надо было нависать враскорячку, отмораживая задницу – я как-то подсмотрела. В холода родители пользовалась будкой только в крайних случаях, а для меня с братом имелись привезенные из Киева горшки, которые мама усердно чистила старыми газетами и снегом.

Моего брата на ту зиму записали в местную школу, и он ходил туда по большой дороге вместе со старшим хозяйским мальчиком два километра пешком. Дорога эта тянулась мимо нашего дома в белую бесконечность, в какую ее сторону не глянь... Когда школьники выходили утром из дома, было еще темно, но ночной снег на дороге был уже с рассвета утоптан фабричным людом, работающими в три смены.

Подниматься на сам курган было строго запрещено – там еще подозревались не обнаруженные мины, что вскоре и подтвердилось самым страшным образом...

Уроки брату приходилось делать на дырявой клеенке обеденного стола, когда с нее убирались тарелки, а стол для работы во второй комнате, где спали родители, считался только папиным.

Папа собирал материал для своих статей и писал их дома, плотно закрыв дверь и запрещая нам шуметь. Он просиживал там часами в вонючем дыму «Беломор-Канала», крепко закусив сплюснутый картонный мундштук очередной папиросы. Мама в эти часы делала круглые глаза и то и дело повторяла страшным шепотом, поднимая указательный палец:

- Шшш!... Папа работает! Шшш!!

Отец ходил еще в своей военной форме, но уже без знаков отличия. Хотя из армии папу давно демобилизовали, его добротный габардиновый китель и брюки были еще в прекрасном состоянии, и он их донашивал...

Когда я через полтора года пошла в первый класс, мама пошила мне из перелицованных на другую сторону капитанских штанов выходное платье «на вырост», сперва мешковатое и длиннее. Я носила его потом четыре года, пока юбка не стала неприлично короткой, а рукава и пояс уже не удавалось застегнуть.

В ту зиму я целами днями играла у нашей большой печи или рисовала цветными карандашами. А еще я помогала маме расставлять на столе тарелки к обеду. Когда мы с мамой были дома только вдвоем, мы пели «в два голоса» наши любимые песни, услышанные по радио в исполнении Клавдии Шульженко и Утесова.

Часто мама читала и перечитывала мне мои любимые книжки, которые я уже знала наизусть. Это были: «Незнайка и его товарищи» отечественного Носова, «Сказки просто так» и «Книга Джунглей» Киплинга. (Какое счастье, что издательства Страны Советов усердно переводили на русский язык даже своих идеологических врагов, в этом случае - «певца империализма» Киплинга, хотя и осыпали его в предисловиях и послесловиях обличительной руганью. Считалось, что врагов надо знать. Большое вам за это спасибо от девочки из послевоенного Сталинграда!)

Стояли крутые морозы и дни были короткие, маленькие окошки избы были покрыты ледяными узорами, и, чтобы посмотреть наружу, надо было долго дышать на стекло и прикладывать к нему теплую ладошку.

Почти каждый день снаружи валил густой снег. Хозяин сгребал его в высокие сугробы и протапывал дорожки. Если из-за метели нельзя было гулять, то мама учила меня и хозяйскую дочку Аню вырезать из бумаги красивые снежинки и веселые хороводы из фигурок, похожие на гирлянды, которые мы развешивали на нитках вдоль стен. Это выглядело так, будто у нас в комнате тоже идет снег и бумажные человечики, держась за руки, танцуют.

Меня выпускали за порог только, если окружающий мир искрился под солнцем. Тогда начиналась упаковка ребенка для «дыхания свежим воздухом»: его всовывали в носки домашней вязки а затем в войлочные валенки, а зимнее пальто на вате и кроличью шапку еще обвязывали поверху пуховым «оренбургским платком» - крест-накрест через грудь и с узлом на спине. Слава богу, сохранились эти кошмарные фотографии, а то никто не поверит.

Мои рукавицы держались на веревочке, продернутой через рукава пальто, чтобы, если сниму, не терялись. За десять минут я превращалась в зашнурованный ватно-шерстяной ком с негнущимися ручками и ножками, но все равно умудрялась получать от гулянья

удовольствие: щеки становились красными, брови и ресницы индевели, изо рта валил пар, а под ногами скрипело...

Так и жили.

### **Смерть мальчика**

Однажды в такой благодатный безветренный день прибежала подружка Аня и сообщила что идет со старшим братом в киоск за свежим хлебом. Я тут же захотела пойти с ними. Мама спохватилась, что и у нас тоже хлеб кончается и, закутав меня до неузнаваемости, дала мне деньги на два батона:

- Скажешь «два батона» и не забудь сдачу взять!

И мы пошли. Меня распирала гордость от важности полученного задания. До киоска, который на самом деле был деревянным продовольственным бараком у дороги, было километра три по прямой – свернуть или заблудиться было просто невозможно. Наша тройка бодро шагала по утоптаной белизне мимо первозданно пушистого склона, нетронутого ничьими ногами.

Еще на подходе мы увидели извивающуюся перед баракom очередь и вприпрыжку кинулись поскорей занять в ней место... А уже через полчаса я обнимала два душистых батона, кажущихся на морозе теплыми, и сыпала в рукавичку копейки сдачи. Задание было выполнено и мы неспеша отправились в обратный путь.

От долгой прогулки и запаха хлеба у меня разыгрался такой аппетит, что слюни наполнили рот и едва не закапали на дорогу.

Начала я с того, что оторвала у одного батона хрустящую корочку, и после этого уже не могла остановиться – есть свежую булку на морозе оказалось неизвестным мне ранее райским удовольствием. Аня с братом завистливо посматривали, как я давлюсь кусками батона и слюной, но свой хлеб не ковыряли, видно, боялись наказания... Расколов и съев целых пол батона я расщедрилась и стала угощать попутчиков второй половиной – они не отказывались.

Дожевав батон, мы стали гоняться друг за дружкой и вдруг заметили впереди на склоне кургана, куда нам строжайше запрещено было подниматься, какую-то фигурку, присевшую на корточках.

Когда мы через минуту добежали туда по дороге, стало ясно, что на склоне в снегу сидит совсем незнакомый нам мальчишка со спущенными штанами и сверкает голой розовой попой – это ему в пути приспичило!

Мы стали хохотать, улюлюкать, и, положив хлеб на обочину, забросали чужака снежками:

- Не смей пачкать наш снег своими какашками!.. Это наш курган, пошел вон!... Вот мы тебя сейчас как отлупим, голая жопа!...

Мальчишка в ужасе вскочил и, придерживая спущенные штаны, стал карабкаться от нас вверх по склону А туда ведь было нельзя! Нельзя!!!...

Анин брат закричал ему снизу, чтоб он, дурак, вернулся, что там – мины! Кричал, что мы его не тронем! Но он нас вроде не слышал и все быстрее и быстрее поднимался, подтягивая брюки, оглядываясь и с трудом вытаскивая из глубокого снега сапоги.

Потом мы потеряли его наверху из виду, потоптались пару минут и когда решили двинуться дальше, наверху ужасно грохнуло. Такого сильного звука я еще никогда не слышала и очень ему удивилась.

Стало опять тихо, солнечная дорога была по-прежнему пуста, и в мире вроде ничего не изменилось... Я смотрела на уходящие вверх следы и ожидала, что мальчишка сейчас появиться из за бугра и начнет спускаться. А хозяйские дети уже все поняли. Аня схватила брата за рукав и сказала:

- Он улетел, - и голос у нее был тоненький, испуганный, - пошли...

Мы молча дошли домой и молча разошлись у крыльца. По поведению хозяйских детей я поняла, что по нашей вине произошло что-то непоправимое. Но что именно, осталось расплывчатым...

Положив на стол батон и сдачу, я не стала объяснять маме, куда делся второй батон. Потому что если уж признаваться, то надо признаваться во всем. А я не могла...

Мама раскричалась:

- Ребенка обманули, обсчитали, вот сволочи! – схватила пальто, платок и побежала в продовольственный барак за три километра выяснять отношения. Не помню, чем все это кончилось....

### Тоже метод лечения

Как-то тетя Маша страшно простудилась, у нее вдруг поднялся жар, красное лицо горело и стало похоже на большую свеклу, какую мама всегда покупала для борща. Толстуха тяжело и со свистом дышала, и вскоре начала заговариваться, наверно, бредила.

Прибежал хозяин, принес самогону - для растирания тела, а еще лучше, сказал – вовнутрь! Предложил насыпать туда побольше молотого перца, пусть стаканчик «тяпнет» и пропотеет. Ему, мол, всегда помогало!

Но мама решила, что лучше обойтись без варварства, дожить бы до утра, а утром она вызовет участкового врача - вдруг это воспаление легких, ведь темпера сорок!...

Мама не пустила тетю Машу в подвал, а уложила у нас на диване и стала с энтузиазмом лечить:

Она поила несчастную чаем с твердым уже засахарившимся медом, а затем ставила ей на спину «банки», создавая огнем вакуум в круглых стекляшках. Что такое этот «вакуум» я не поняла, но мама сказала, что он все всасывает, болезни тоже... Она уверенно жонглировала голубым пламенем тампона на палочке, – это было как в цирке! - и лишённые воздуха стекляшки тут же намертво прилипали к широкой хозяйкиной спине, втягивая в себя ее кожу и простуду.

Я с восхищением смотрела, как ловко моя бесстрашная мама играет с огнем. Все это проделывала она и со мной, когда я температурила и кашляла, и моя спина затем месяцами напоминала о зимних простудах рядами коричневых кружков.

После отклеивания стекляшек хозяйку перевернули, и мама налепила ей на грудь компресс, а на ноги натянула мужнины носки с сухой горчицей. Лечить мама умела как никто!

- Так ведь и помереть недолго, - возмущалась она, укутывая все это напоследок одеялом и шерстяными платками,. - Крещенские морозы, а эта дура выскакивает за дровами вся потная в распахнутой телогрейке! - и все разошлись спать в надежде на завтра.

Но исцеление хозяйки произошло совсем неожиданно и настолько потрясло мою маму, что несколько лет эта история со всплескиванием рук не сходила с повестки дня.

Часа в три ночи маму что-то разбудило, ей почудился далекий приглушенный звук ударов и уханье. Она решила встать и выпить воды, и по пути к ведру увидела, что диван пуст - нашей умирающей хозяйки нигде не было. На диване темнела только скомканая горка одеяла и вперемешку с шерстяными платками. Сперва мама подумала, что тете Маше стало легче и она спустилась в подвал к семье, но тут со двора опять донеслись непонятные звуки и звякнула колодезная цепь.

То, что мама затем, накинув пальто и шагнув на крыльцо, увидела, в голове просто не укладывалось.

Ей открылась ночная картина, словно отлитая из серебра и оттого почти нереальная. У колодца, освещенная молодым месяцем и зыбкими морозными звездами, посреди бесконечных снегов стояла наша хозяйка, совершенно голая и босая. Она, ухая, обливалась ледяной колодезной водой, подняв перед собой ведро. Не поверив своим глазам, мама бросилась назад в избу и, дрожа, забилась к папе под одеяло. Утром она считала, что ей это почудилось или приснилось.

На самом же деле, все было именно так. Но поскольку вода в колодце сверху замерзла, хозяйка сперва расколола лед тяжелым колом на цепи, который она пару раз бросила вниз (от этих звуков мама и проснулась), а потом, вытащив ведро с водой и кусками льда, пару раз окатила себя с головы до ног.

Утром, сбегав к колодцу, и обнаружив рядом с ним обледеневшую поверхность снега, мама поняла, что на снег действительно лили воду, и что ей ничего не пригрезилось. Она ринулась в подвал, ожидая страшной кончины матери шестерых детей. Но та встретила ее ясной улыбкой и предложила попить чаю. От ее смертельной простуды не осталось и следа!

Рассказывалась эта история потом в Киеве в ярких красках при любом случае. И мама всегда в заключение добавляла: «У немцев в тех краях шансов на победу быть не могло!»

### **Наш Сталин!**

Усатый портрет «дедушки Сталина» висел в иконном углу нашей деревянной избы рядом с иконой Богородицы. Набожная тетя Маша, заходя к нам в комнату, всегда крестилась и кланялась тому святому углу.

Мы жили в Сталинграде уже почти три месяца, когда в начале марта 53-го Сталин умер. Это сообщили по радиоприемнику, который, по праву самой главной вещи в доме, висел на комод. Услышав это, тетя Маша схватилась одной рукой за рот, второй – за стенку и стала оседать на пол...

Я, пятилетняя, помню только крики баб и мужиков на кургане, потом ежедневную траурную музыку по радио и вой фабричных гудков.... Всю страну сотрясало великое горе, но здесь страдали особенно - это был ЕГО город...

Долго и хрипло голосила наша хозяйка и ее перепуганные дети тоже ревели, чувствуя, что с дедушкой Сталиным случилось что-то ужасное, хотя смерти еще не понимали. Моя мама покрыла голову черным платком ... А дядя Вася, беспартийный коммунист, с того дня надолго запил и не ходил на свою фабрику. Он глушил самогон из чайной чашки, обхватив большими темными руками русую голову, а иногда мотал ею в такт каким-то своим мутным мыслям и тоненько скулил, словно пел.

Как вел себя папа, я не помню, он редко появлялся дома, наверно, он с неделю просто сурово молчал, как и положенно бывшему капитану-фронтовику. Мы с братом на всякий случай тоже притихли, чтоб не попасть в тяжелую минуту под горячую родительскую руку.

Портрет Сталина обвязали черной лентой и зажгли под ним свечи, а в комнатах затянули все зеркала простынями. Так, оказывается, делают, когда в доме находится покойник. А я все вспоминала о мальчике на кургане – чем-то все это было связано, нехорошо и тревожно...

### **Весна!**

Когда мы вернулись из Сталинграда, на киевских улицах уже торговали подснежниками и крокусами. Я радовалась, не задумываясь, почему мне весело и постоянно хочется прыгать, словно я - коза. (Я и до сих пор не научилась встречать каждую весну с животнорастительной радостью, и иногда нарвлю «попрыгать», хоть и в переносном смысле, невзирая на последствия. Но это к слову...)

После Сталинграда чудесные, щекощущие запахи киевской весны наливались через ноздри прямо в живот, а предвкушение тепла и ярких красок после вечности в стране Снежной Королевы переполняли каждую мою клеточку, обещая только хорошее...

Но папа купил мне сразу три книжки-раскраски, много цветных карандашей и пластилин. А это значит, что мне опять пора лечиться...

### **Инопланетянка!**

Завтра меня опять отвезут в клинику.

Со мной уедут мои желания и страхи и моя голая, сидящая в ванночке целлулоидная куколка Ляля. Но это будет завтра. А сегодня свет играет в складках маминой юбки, и в кухне живет кошка без имени...

Не хотелось мне здесь говорить о болезнях и жаловаться, но придется, а то дальше будет совсем непонятно.

Я тогда все болела и болела. Лет с трех меня начали всерьез изучать в разных больницах, потому что никто не понимал толком, что с девочкой происходит. Мама в такие месяцы ежедневно прибегала в палату и сидела там часами, а мой братик был очень доволен, что он хоть пол дня опять единственный ребенок в семье.

Впоследствии я стала чем-то вроде печальной знаменитости в медицинских кругах – пациентом без диагноза. На мне «обламывали зубы» знаменитые профессора, так как прецедента не было.

Пятилетняя, я уже изумляла наших соседей по квартире, произнося такие слова, как «пиелит», «цистит», «холецистит» и жутким словом, от которого меня до сих пор бросает в дрожь, - «цистоскопия». И объясняла этим взрослым дуракам, что это такое.

Между больницами я месяцами жила почти нормальной детской жизнью, хотя и сидела на невкусных диетах: играла с детьми во дворе, наряжала нашу терпеливую кошку в чепчик от куклы, ездила к бабушке-дедушке в гости, раскрашивала картинки и декламировала по праздникам стихи Маршака, стоя на стуле...

В больницах, находясь под личным наблюдением очередного «светила», я была часто изолирована в какой-нибудь одноместной палате.

Меня исследовали по вертикали и горизонтали, словно разгадывали кроссворд и, если я не знала, что со мной будут делать завтра, то ужасно трусилась и плакала.

А бояться было чего: например, урологические исследования маленьких детей тогда почему-то не обезбаливались, мне просто говорили: надо потерпеть! Я орала и училась любить боль - другого выхода не было...

*«... Захлестывает цунами вульгарной физической боли, которую учишься любить, чтобы от нее не свихнуться...»*

А профессор отделения этажом ниже, куда меня, забившуюся под одеяло, переправили из урологии вместе с кроватью, считал что причина моей беды совсем не там, где ее искали – и решил заглянуть в меня с другой стороны. Поэтому вскоре я так здорово натренировалась глотать длинную резиновую кишку зонда с железкой на конце, что врачи смеялись, обещая показывать меня с этим номером в цирке.

Так как причины болезни не понимали – лечили последствия, просто спасали маленькую жизнь, выкачивая из ребенка все дурное, чтоб оно его не задушило. Меня на какое-то время опять приводили в чувство и отправляли домой отдышаться пока эта дрянь опять не накопится, так и не выяснив толком, откуда она, эта дрянь, берется.

Как-то мама, забрав меня из клиники и, плача, возмущалась по телефону: «Это же черт знает что: у нее внутри сплошные воспаления, она больна всем на свете, но при этом у нее прекрасный анализ крови, показывающий, что ребенок абсолютно здоров! И вообще, они мне сказали, что ее анализы противоречат не только друг другу, но и законам природы!»

А еще главврач детской клиники, веселый и любящий шутить, передавая меня для изучения коллеге, выразился так:

- Это не ребенок, это - инопланетянин. Такого просто не бывает!

Я это запомнила, потому что это было смешно.

## Коммуналка номер 2

Еще до того, как мне исполнилось семь лет мы обменяли нашу комнату и переехали в другую, малонаселенную коммуналку, в пятнадцати минутах ходьбы от нашего прежнего дома.

Мы въехали в две комнаты квартиры на втором этаже и здесь у нас был свой балкон, ура! Очевидно родители при обмене за вторую комнату и за малонаселенность квартиры доплатили.

Наш теперешний дом был по сравнению со старинным зданием на Улице Жертв Революции дряхлым и некрасивым. Он был четырехэтажный, находился во дворе с пестрыми заплатами асфальта и новыми в нем дырками, и никаких исторических «кренделей» на своих облупленных дверях не имел. Лишь металлические клапаны почтовых щелей на дверях квартир удивляли посетителей забытым правописанием «Для писемЪ и газетЪ». Этими почтовыми щелями на уровне глаз уже давно никто не пользовался - управление домами повесило при входе в дом восемь уродливых жестяных ящиков – нечего гонять почтальонов по этажам!

Хоть наша щель и была почтовым пережитком, она мне нравилась, потому что ее металлическим клапаном можно было громко стучать, если не работал звонок, а, подняв этот клапан, можно было с лестничной площадки заглянуть через щель в прихожую и крикнуть: «Есть кто дома? Ах, никого? Значит, вы забыли выключить свет в коридоре!» - глупость, конечно, если все равно никто не слышит.

Через щель можно было бросать в квартиру, например, копейки, цветные шарики, записки, школьные тетрадки, учебники, красивые осенние листья, или тайно перешептываться с подружкой, не открывая дверь...

А если поднять пальцем железный клапан изнутри, то можно было шпионить во всю ширину щели... Я пару раз пускала через трубочку, всунутую в щель, радужные мыльные пузыри на лестницу, когда по ступенькам поднимались жильцы верхних этажей... Они переставали кряхтеть останавливались и изумлялись, ухватившись за перила: это еще что такое, откуда? – Моего веселого хрюканья в кулак они, конечно, не слышали!..

А еще из щели всегда приятно тянуло прохладой, даже в жару.

Наш теперешний дом стоял во дворе и утыкался фасадом в спину переднего здания. Передний дом смотрел на улицу, а мы смотрели в его кухни. И лишь какие-то десять метров двора между нами мешали нам заглядывать в чужие кастрюли.

\* \* \*

Кроме нашей семьи в квартире проживали две старые женщины. Они не состояли в родстве, и каждая из них имела комнату, выходящую в длинный узкий коридор в глубине квартиры..

Считалось, что теперь мы занимаем целых две комнаты, но это было не совсем так, потому что с лестницы входная дверь вела через прихожую только к нам - в нашу большую комнату с балконом.

Чтобы попасть к соседкам по квартире, надо было пересечь эту нашу комнату и выйти через противоположную дверь – во второй коридор.

В этой проходной комнате и поселили меня с братом.

Здесь, рядом с выходом на балкон, находилась еще одна дверь, ведущая в маленькую спальню родителей, становившейся папиным кабинетом, когда он бывал дома.. Комнатка эта была двенадцати метров, и в ней чудом умещались платяной шкаф, папин письменный стол с креслом, а также металлическая кровать с высокой периной. Изголовье кровати украшали ужасно хорошенькие никелированные шарики, которые мне раз и навсегда под угрозой ремня запрещено было отвинчивать. Двух шариков уже не хватало, и это было делом моих рук.

### **Товарищ Кролик**

Более разных людей, чем наши две соседки, в природе быть не могло, но они прекрасно уживались.

Одна из них – небольшого росточка пенсионерка и старая дева с дулькой серых волос на затылке. Оказалось, что она не просто какая-то обычная тетка, а бывшая военная, проработавшая долгие годы в звании лейтенанта секретаршей КГБ Украины, находившимся прямо за углом, и к тому времени вышедшая в отставку. Она была, начитанной и политически грамотной особой, подписывалась на газеты «Правду» и «Известия» и ни в каких богов, кроме Компартии, не верила. В комнате у нее царил симбиоз военного порядка и кружевных салфеток. Папа таким соседством был очень доволен – наконец-то он нашел достойного собеседника по партийным вопросам.

Иногда она угощала меня за своим «засалфеченным» полированным столом сладким чаем в железном подстаканнике и вкуснящим вишневым вареньем без косточек, которое варила каждое лето в большом эмалированном тазу с помощью второй соседки.

Только фамилия у демобилизованной офицера-старушки была очень уж забавная и к ее суровой биографии совершенно не подходившая. Ее звали – товарищ Кролик!

У нее было еще и прекрасное еврейское имя - Эсфирь, ни с ее внешним видом, ни с фамилией не увязывающееся.

Эсфирь Кролик!

Посмеялись и привыкли.

А для меня она всегда была и осталась тетей Эсей. На это имя она и была похожа

### **Набожная полячка**

Вторая соседка, Елена Ивановна, была еще старше, но десятилетиями не менялась. Как была древней мумией, так и осталась. Хотя тогда для моих детских глаз все женщины старше мамы были глубокими старухами.

Эта вторая соседка с запавшими вовнутрь губами была совсем простая бабка, католичка польского происхождения, высокая, худящая и жилистая.. Когда она однажды зевнула, широко открыв рот, в нем оказалось только два темных зуба – один сверху, второй снизу,

расположенные по диагонали, так что толку от них не было. Немудрено, что бабулька всегда подолгу вымачивала свой хлеб в супе или в чае, чтоб перетереть его деснами.

Она всегда ходила в присобранных на резинке темных юбках до пола, заправляя под эту резинку широкие рубахи, которые скрывали ее костлявость.

Старуха ходила убирать квартиры и присматривать за детьми, каких-то польских знакомых и с этого заработка скромно жила. Тогда, в пятидесятых-семидесятых, она помогала и нашей бывшей кегебистке вести ее несложное хозяйство, за что та ее охотно подкармливала.

И обе были довольны.

Каким ветром Елену Ивановну занесло в столицу Украины мы так никогда и не узнали. Она умела неделями молчать, потом ее хватало на одну фразу, после чего мы опять забывали ее голос. Беззвучно шевеля губами, она постоянно перечитывала потертую польскую Библию, выпуская ее из рук только для трудов праведных..

Елена Ивановна была католичка, но вынуждена была молиться в русской православной церкви, потому что прекрасный готический костел в Киеве коммунисты приспособили под склад картошки, а католиков прогнали. Ведь всем было ясно, что бога все равно нет, а это готическое здание так хитро построено, что в нем картошка не гниет!

Как-то я услышала, как тетя Кролик сказала маме, что у нашей скрытной Елены Ивановны во время войны погибла единственная дочь, но подробностей никто никогда не узнал. Жила та в таинственной своей комнате, куда никого и никогда не пускала и, выходя в коридор, сразу же закрывала дверь на ключ.

Мне, любопытному подростку, потом как-то удалось на мгновение туда заглянуть и я увидела совсем неожиданное: вся ее комната была заставлена растениями в больших кадках, растения были высокие, как деревья, и стояли почти вплотную друг к другу, перекрещиваясь ветвями. Среди этих кадок едва помещалась низкая лежанка под суровым серым одеялом. На гвоздях по стене висели пара юбок и рубах, а шкафа не было. Кроме Библии в изголовьи лежанки в комнате находился еще старый сундук и больше никакого имущества. Значит жила она в молениях, как отшельник. Свет из обоих высоких окон едва пробивался через листву, и в комнате, несмотря на яркий солнечный день, стоял лесной полумрак.

Мама старуху побаивалась. Эта суровая, почти заносчивая бабка ее с самого начала невлюбила, потому что мама ей в день заселения в квартиру что-то не тем тоном сказала. И злопамятная Елена Ивановна не простила ей обиду до самой смерти, как уж мама к ней потом ни подлизывалась и ни угождала. С нами, ее детьми, она тоже общаться избегала и ходить через парадную дверь, пересекая нашу комнату, гордо не пожелала. С момента нашего вселения в квартиру и в течении более 20-ти лет она упрямо пользовалась только «черным ходом», ведущим из кухни во двор мимо ужасного мусорника, где пировали крысы... И никакие уговоры не помогали!..

Полячка получала от государства крошечную пенсию «по-старости» в 10 рублей – этого не хватало и на чай с хлебом, и поэтому почти до самой смерти, а умерла она в 93 года, приходилось ей прислуживать и убирать в чужих семьях. Она не охала и не хваталась за поясницу, а молча нагибалась к ведру, выкручивая узловатыми пальцами воду из половых тряпок. Железная была бабка!

...Обе старушки умерли в восьмидесятих годах. Об их смерти я узнала от мамы, когда она приезжала погостить в Берлин. Тогда с этим известием откололся еще один кусок детства...

\* \* \*

Но возвращусь... Итак, мы с братом жили тогда практически в коридоре.

К старой полячке никто не приходил, а вот товарища Кролик иногда навещали бывшие сослуживцы и родственники, чаще всех ее младший брат Семен, мужчина лет 45-ти. Он всегда приходил со своей дочкой моего возраста и пока взрослые разговаривали мы с ней играли в куклы. Сначала было очень непривычно, что мимо моей постели туда-сюда ходят чужие люди. Но вскоре я уже семейство Кролик хорошо знала, и не пряталась от них с головой под одеяло.

Я спала на допотопном диване, укладываясь на нем зигзагом между холмиками свободолобивых пружин, а мой братец ночевал в противоположном углу комнаты на раскладушке, которая днем складывалась и убиралась с глаз долой за платяной шкафом.

Когда мы переехали, я обзавелась дыркой вместо двух передних зубов, которые сперва долго шатались и наконец один за другим были выдернуты при помощи нитки, привязанной папой к ручке двери. Вскоре обладательница очаровательной улыбки была записана в первый класс средней школы, которая находилась за углом.

В школе я бывала редко, только между больницами, поэтому ни с кем не успевала как следует познакомиться. И хотя я послушно занималась с мамой по учебникам, мои школьные успехи были очень посредственны.

Я училась во втором классе, когда меня в очередной раз отдали из клиники домой, но надежды ни у кого уже не оставалось. Медицина развела руками, так ничего во мне и не поняв, и помочь больше ничем не могла. Мое состояние все ухудшалось, и считалось, что меня на этот раз отправили домой умирать.

Но родители с приговором согласны не были.

### **Чудесное спасение девочки**

...С тех пор как этот пожилой дядя в длинном пальто вошел в комнату прошло не более десяти минут. Но он уже знал, почему я гибну...

– А ну покажите-ка мне ваши локти... Оба родителя! Оба локтя!

Это был легендарный врач, профессор-гомеопат Попов. Его можно было пригласить на дом только частным образом, и этот визит стоил родителям больших денег. К тому времени дедушка Рахмилъ уже умер, поэтому финансировать дорогого профессора пришлось родителям самим, и они залезли по уши в долги.

Попов был прекрасным диагностиком, считался чуть ли не волшебником, и его приглашали в тех случаях, когда уже никаких надежд не оставалось. Он просто думал по-другому.

К тому времени я очень ослабла. Он вошел в комнату, снял пальто, выслушивая мою маму, которая тараторила и от волнения сама себя перебивала, полистал бумажки с анализами и списком моих лекарств, улыбнулся всему этому, улыбнулся и мне: ну-ка барышня, какие у нас отметки в школе? - и велел ребенка раздеть.  
Догола!

Потом он вынул большую лупу и стал меня голую подробно рассматривать, как бабочку, наколотую на иголку. Помню эту замершую картинку: я ежусь под лупой, тишина в комнате, родители почти не дышат, любопытствующая голова моего братца в дверной щели... Профессор удовлетворенно хмыкает, обнаружив на моем плече какое-то пятнышко.

Он так долго и больно шелушит его ногтем, пока не выступает точка крови: «Ага, а это что у нас такое?» - и вдруг произносит фразу о каких-то локтях.

Мама тогда чуть не задохнулась от возмущения:

- Ребенок умирает, а вы - какое-то пятнышко!.. Да черт с ним, пятнышком!..

Тогда он строго повторил:

- Оба локтя показываете!... И отец тоже. Ну, все ясно...

У папы на локтях обнаружился псориаз, который он по-мужски игнорировал. Он вспомнил, что у его отца Лени тоже были эти пятна, шелушащиеся серебристой коркой - на ногах и локтях. Стали думать, у кого в семье еще...

У моей мамы – кожа чистая, мягкая, через нее все дурное перепрыгнуло, хотя ее папа Рахмиль, сказала она, имел что-то подобное на голове и поэтому всю жизнь ее брил «чтоб дышала».

В этот момент выполз из дверной щели мой брат-подросток: наконец-то настал и его звездный час! Он радостно потребовал к себе внимания, сообщая о своем противном пятне на колене, и тут же, задрав штанину, его показал. Теперь, ура, он тоже болен!

Профессору все было ясно: на мне с братцем, перепрыгнув нашу маму, скрестились две линии предков-псориазников, но обычно это проклятье находится снаружи, где всем сразу видно, а меня, пощадив кожу, оно тайно пожирало изнутри, порождая инопланетные анализы...

Наследственность... Это вам не только голубые глазки и таланты!..

### **Изгнание злого духа**

Новое лечение было просто удовольствием по сравнению с прежним пытками.

Профессор решил изгнать этот чертов псориаз из меня наружу, то есть посадить туда, где он не будет опасен для жизни.

Все аптечные лекарства были отменены, и гомеопат изготовил для меня в своей колдовской лаборатории крошечные, как булабочные головки, сладкие шарики. Они были разных цветов и находились в разных баночках. Я только должна была их глотать по схеме согласно цвету – как именно, поняла только мама, и строго следила за их приемом.

Эти колдовские шарики стали причиной моего превращения в дерево. Внутри я очищалась и выздоравливала, но видели бы вы мою кожу!

Агрессивность изгоняемого изнутри зла, можно было сравнить с яростью сатаны, изгоняемого экзорцистом из тела грешника.

Болезнь вырывали наружу, и она чуть ли не с демонским хохотом тут же оседала хлопьями на всей моей поверхности. Она не прощалась, только переезжала в дом напротив. Вскоре моя кожа покрылась чем-то вроде серебристо-бурой коры, постепенно превращая меня в девочку-дерево.

Но быть деревом я не хотела, моя душа была для этого слишком подвижной, мне больше нравилось считать себя рыбой в серебрянной чешуе.

*«...Если раздеваешься перед сном догола, то безболезненно снимаешь одежду вместе с кожей, и рыба чешуя плывет по блестящему паркету...»*

Помню, тело воспалялось и невыносимо чесалось, а чесать было нельзя. Конечно, я не выдерживала и тогда его чешуя забивалась мне под ногти. Поэтому мама мне ногти всегда коротко стригла и даже летом спать укладывала в зимних рукавицах, чтобы не царапала себя во сне.

Какие-то там жалкие пару пятнышек у братца или у папы – это было даже смешно сравнивать, через пару месяцев я заняла свое место в высшей лиге псориазников. Болеть так болеть – в этом мне опять не было конкуренции...!

Каждое утро все тело мазали каким-то жиром, сделанным специально для меня. Особенно важно было смазывать руки, чтобы при движении пальцев сухая кожа не трескалась на суставах, потому что такие ранки долго не заживали.

Я скоро привыкла быть жирной и забинтованной, привыкла, что меня обжигали ультрафиолетовыми лучами чуть ли не до пузырей и гипнотизировали под иголками... Отныне моими любимыми врачами стали накожники.

Я думаю, в тот период мой брат на какое-то время перестал мне завидовать.

Но, несмотря на все наши ужасы и проблемы, родители были счастливы и молились на профессора Попова, который спас ребенку жизнь.

### **Размышления над ногами дракона**

Узнала от мамы много интересного. Кожа у людей, оказывается, имеет много слоев, и верхний слой со временем отмирает и отшелушивается, а нижний, созревший, его заменяет и становится верхним. В то же время следующий слой готовится стать на его место, и так всю жизнь... Кожа это делает тихонько и никто ничего не замечает, пока не обгорает на солнце.

Я вспомнила, как прошлым летом я обожгла нос и плечи. Кожа на них потом шелушилась и облезала, а под ней уже была почти готова новая ярко-розовая, которую мама мазала холодным кефиром, чтоб снять воспаление. Через пару дней эта нижняя кожа потеряла красноту и стала верхней.

Это было удивительно: оказывается, кожа движется снизу вверх, как лестница эскалатора в метро, о котором с восторгом рассказывал папин друг дядя Ефим, приехав из Москвы. Он показал нам фотографию лестницы в газете, и рассказал, как верхняя ступенька, распластавшись, исчезает, на ее место накатывает новая.

Я долго размышляла над ногами дракона, которые когда-то были моими, и решила, что мой эскалатор сломался – верхняя ступенька застопорилась, вздыбившись чешуей, потому что следующая за ней не была готова ее сменить, так и оставшись незажившей... Конечно, в таком виде ее нельзя выпускать на поверхность, и кефиром здесь, точно, не помочь!

### **Как на фронте**

Я боялась этой проклятой школы. Я ее ненавидела и шла туда каждый раз, поднимаясь по крутой улочке, словно на эшафот. Но в школу надо было ходить всем детям, и дома я даже заикнуться не смела, что мне там плохо.

В классе со мной – ни с деревом, ни с рыбой! - никто, конечно, водиться не хотел. И сидеть со мной рядом за партой тоже никто не желал, хотя была я не заразная, только очень уж страшненькая...

Я думала, с такой ужасной девочкой мне, наверно, и самой было бы противно дружить.

Лицо мое болезнь почти пощадила, но из под волос на лоб выползло неровными краями побережье какого-то неизвестного, спрятанного под волосами, континента.

Русые косички пришлось отрезать, и меня коротко подстригли - прическа называлась «под мальчика» - так было легче эту дрянь вычесывать. Словом, было чем заняться.

От всех уроков спорта меня, конечно, «по состоянию здоровья» освободили, поэтому спорт остался для меня на всю последующую жизнь чужим, как бы иностранным словом. Когда одноклассники прыгали со скакалками, поднимались по канату или играли в баскетбол, я сидела на низкой скамье в углу спортзала, словно запасной игрок, которого никогда не востребуют.

Я их всех, таких веселых, уверенных и красивых, панически боялась, и им очень нравилось, что я их боюсь.

От страха я на уроках мало что понимала.

Когда учительница вызывала меня писать на доске, и насмешливые взгляды сзади, словно гвозди, прибивали меня к этой доске, я забывала не только выученный урок, но и свое имя.

Чтобы надо мной не смеялись и не дразнили, я пряталась.

Я думала только о том, как бы первой удрать, когда начнется перерыв.

Звонок только-только набирал воздуху чтобы зазвенеть, а я уже летела стрелой к двери и пряталась в туалете для девочек! Меня и там находили, но я, успев запереться, придерживала пальцами спасительный крючок и молчала.

Почти все перерывы я скрывалась в туалете и на следующий урок вбегала в класс после звонка вместе с учительницей, чтобы никто не посмел меня тронуть. На большой перерыв я захватывала в кабинку и вкусные мамины бутерброды.

Там же я часто отсиживалась и после занятий, словно в траншее, поджидая пока мои неприятели покинут здание школы и уйдут подальше.

А когда наконец выползала на улицу, то стремительно неслась домой, чтоб не попасть в окружение – это было как на фронте.... Если удрать не удавалось, и меня перехватывали, то я или получала какую-нибудь холодную дохлую гадость за пазуху, или спотыкалась о чью-то подножку. А однажды всю меня забрызгали фиолетовым чернилом, бросив под ноги, словно гранату, «чернильницу-невыливайку» (мы писали тогда еще стальными перьями, макая их в чернильницы). Отстирывать эти чернила от школьной формы было трудно, и мама очень сердилась, что я не заметила виновных.

А я просто боялась назвать имена, потому что после опыта с моим дорогим братцем научилась не жаловаться, чтоб не досталось еще больше.

Нет, они меня не били, просто наслаждались моим страхом и доводили до горьких отчаянных слез – этого им хватало!

Особенно кошмарной была история, когда на сидение моей парты налили воды, которая частично стекла на пол и образовала под партой лужицу. Прозвенел звонок, вошла учительница, я, не глядя, села на свое место, не сразу сообразив, что оно мокрое. Мальчик с задней парты тут же поднял руку и сообщил учительнице, что я уписалась. Все вскочили и уставились на лужу. Я тоже вскочила и стала все отрицать, но на моей школьной форме сзади уже темнело мокрое пятно, и учительница им поверила: не станет же она сомневаться в этой луже, раз у меня зад мокрый! Не будет же она это нюхать!.. Она долго после этого требовала тишины, но класс просто трясло от хохота. Что происходило в эти минуты со мной, я описывать не хочу.

На следующий день маму вызвали в школу к директору., боже, как это было стыдно!... Но говорить о своих школьных проблемах с родителями я не умела.

Так продолжалось пару лет, хотя из-за болезней на уроках я бывала не так уж часто. Интересно было бы подсчитать, сколько же я провела в общей сложности времени моего детства в обществе школьного унитаза!

### **Рыжая новенькая**

У меня тогда еще не было никакого социального опыта, и не приходилось подолгу находиться среди сверстников, поэтому я и не ориентировалась в возникающих ситуациях.

И в ясли меня не отдавали, и в детский садик я ходила только одну неделю, пока не выяснилось, что их питание для меня вредно – на этом все и кончилось. А разномастные и разновозрастные дети квартиры и двора были не в счет. Там, если что, и мама всегда была рядом. Сама я защищаться не умела, если обижали – плакала.

Но в четвертом классе к нам пришла новенькая, и мне был преподан урок самозащиты.

Это была веснушчатая толстая девочка с роскошными ярко-рыжими косами, и одна из моих мучительниц, гимнастка и любимица всех наших мальчиков, решила ее тоже «погонять по углам».

Я уже приготовилась было смотреть, как мучают других, трусливо радуясь, что сегодня меня, может, и оставят в покое, но ничего у мучителей не вышло: толстушка в карман за словом не полезла и дала такой отпор, что у всех дыхание перехватило, подкрепив сказанное конопатым кулаком. Обидчица, к рукопашному бою не готовая, была поймана врасплох, и вмиг очутилась под партой. Всем сразу стало ясно, что рыжая умеет драться.

- Еще кто хочет? - спокойно спросила она, обводя кулаком полукруг в сторону класса. Но никто не вызвался. С тех пор толстушку не трогали, ее даже мальчишки зауважали и побаивались...

Такую не помучаешь! Всем стало очевидно - у этой девочки нет менталитета жертвы. Ведь все просто: если жертва чувствует себя жертвой, то и пахнет она жертвой, а этот запах притягивает желающих принести жертву в жертву...

Думая о себе школьных времен, прихожу к выводу, что я в начальных классах, которые совпали с тяжелой формой псориаза, меня изуродовавшего, считала я себя сама существом любви и дружбы недостойным, что и выражала всем своим жалким видом и поведением.

Всю мою маленькую жизнь меня жалели и учили только одному: «надо потерпеть!». Так что роль жертвы была моей единственной ролью – и я ее не играла, я ею была.

### **Лишайная и чокнутая**

Я тогда рыжей девочкой восхитилась и захотела стать такой, как она. Хотя об этом даже думать было страшно. Я себе все это тысячу раз представляла, но пока все это были только прекрасные мечты.

Мечты эти сбылись намного быстрее, чем я могла себе представить.

В один из зимних дней мама попросила меня после школы не задерживаться, а сразу идти домой - была какая-то важная причина. Поэтому я не скрылась в своей туалетной «траншее», а вышла, хотя и после всех, из школы,. Да нет, не вышла - осторожно выползла.

И, о ужас, группа из пяти скучающих одноклассников еще стояла перед зданием. Они лениво долбили носками кто сапога, кто калоши на валенке слежавшийся на обочине сугроб и, завидев меня, оживились. Не сговариваясь, все пятеро широким фронтом и двинулись навстречу, ухмыляясь в предвкушении развлечения!

Мое маленькое сердце застучало, стало расти и наконец остановилось в горле. Я от него задохнулась: бежать пока не окружили!... И тут со мной произошло нечто необъяснимое, вроде короткого замыкания с искрами в груди.

Вместо того, чтоб попытаться улизнуть, я вдруг зажмурилась и бросилась врагам навстречу, и все мое отчаянье выплестнулось в дикий вопль наступающей конной армии.

Тогда в панике я, конечно, плохо соображала, что нападаю первой, да еще сразу на пятерых! Что меня еще никто не трогал, только собирались... Но никакого плана действий в тот момент не было - я словно летела с обрыва, и скорость падения была не в моей власти!

Не видя лиц и широко размахивая тяжелым от учебников портфелем вместо сабли, я набросилась сразу на всех, вкруговую, как будто сошла с ума, и случайно попала одному мальчишке портфелем по уху. Очевидно, это было больно, потому что он завизжал и схватился за голову. На его пальцах я увидела кровь.

Несмотря на численное преимущество, мои мучители от неожиданности разбежались в разные стороны и вытаращились на меня с безопасного расстояния. Они всерьез испугались. Сбитая портфелем с головы заячья шапка мальчика так и осталась лежать на снегу.

Мне позже кто-то из стоящих у школы сказал, что выглядела я в миг атаки очень страшно, вроде как в сиянии каком – ну просто жуть! – и вообще даже померещилось, что внутри моего пальто была не я. (Сегодня-то я знаю, кто тогда в моем пальто светился - это был Георгий Победоносец, поражающий дракона. Кто ж еще!)

После разбега и удара по уху я вдруг остановилась, вроде сама о себя споткнулась, и затопталась на месте. Я не знала, как вести себя дальше. У меня был шок.

А может, меня уже и не было, как того отважного бойца из школьного учебника, который с последней гранатой бросился под фашистский танк...  
Я медленно побрела домой.  
За мной не гнались.

На следующий день все в классе с любопытством поглядывли в мою сторону и перешептывались, мол, какой номер я еще выкину. Я открылась им в новом свете и они ничего не могли понять: ведь петуху хотели всего лишь привычно отрубить голову, а он вдруг сам набросился и всех заклевал!

За расквашенное портфелем ухо мне отвечать не пришлось, мальчишка на меня не пожаловался, придумал другую историю. Разнесся слух о том, что эта лишайная оказывается еще и чокнутая. А с сумасшедшими лучше не связываться, опасно.

Спасибо, рыжая, за первый опыт победы грубостью и напором, хотя с ролью жертвы мне предстояло еще повозиться в течении нескольких десятилетий...

### **С птичьего полета... ( нервным не читать)**

Рассталась я с этой школой самым печальным образом в 11 лет. Это было осенью в пятом классе...

В начале учебного года наш класс переправили на третий этаж - мы уже не считались малышкой!

Школа была в четыре этажа<sup>1</sup>, с широкой винтовой лестницей, вьющейся над захватывающим дух пролетом, словно «серпантинная» дорога над пропастью. Ее гранитные ступеньки начинались каменным завитком почти в центре большого холла напротив помпезного входа в здание, торжественность которого никто в школе уже не замечал.

---

<sup>1</sup>Счет уровней в домах начинается с первого этажа, немецк. «земляной этаж» считается первым.

Лестница взлетала полукругом, и на каждом этаже тормозила о большую мозаичную площадку. От всех этих площадок уходил в сторону одинаковый на всех этажах коридор с классными комнатами, а сама лестница, развернувшись и огибая свой пролет, спешила дальше – на третий и четвертый...

Говорили, в этом пролете ходил когда-то лифт, медленный и скрипучий, как столетний дед, и был он огражден от лестницы ажурной металлической сеткой. Этот лифт давным давно исчез на свалке, и о нем напоминает лишь осиротевшая сквознячная дыра. Зато если смотреть с площадки четвертого этажа, где размещались старшие классы, и куда мы, любопытствуя, часто забиралась, можно было охватить взглядом все уровни школы вместе с холмом и каменным завитком первых ступенек. Здесь открывался вид на весь наш школьный мир с птичьего полета!

Школа срочно нуждалась в капитальном ремонте, на который денег, конечно, не было. Ну и что, что некоторые окна плохо закрывались, порождая сквозняки и, соответственно, простуды, что каждый второй умывальник в туалетах был в трещинках или с отбитым краем, что перила лестницы, то там, то здесь, шатались, как передние зубы у первоклашек! Ко всем этим бедам школа с годами привыкла и относилась к ним без паники, как пенсионерка к старым хроническим болезням.

И должна же была именно я (а кто же еще!), ухватившись за эти дурацкие перила, рухнуть с ними вниз, словно других проблем у меня не было...

В тот осенний день после последнего звонка все как с цепи сорвались и понеслись из школы, галдя, толкаясь и напирая друг на друга. Лестница была за секунды переполнена, поэтому какая-то торопливая стайка школьников прижала меня, вечно не в ногу идущую, к перилам... И вот эти перила под моими руками наконец окончательно от лестницы отделились, чтоб составить мне компанию внизу...

Начался мой полет где-то между третьим и вторым этажами и нет, чтоб внизу просто сломать себе ноги о ступеньки «завитка», я почему-то, кувыркнувшись, приземлилась на голову и верхнюю часть спины.

В таких ситуациях, если повезет, уходят в черную дырку, лежат там без чувств и приходят в себя только в больнице, накаченные обезбаливающими средствами. Но этой милости я, очевидно, не заслужила - я не «вырубилась», а при полном сознании познакомилась с новыми вариантами болевых фейерверков.

Я не кричала - при такой боли нет сил кричать - я только сдирала ногти с рук, загребая под себя гранитные ступеньки.

Побежали за моей несчастной мамой, и «Скорая» увезла меня в клинику, как скоро выяснилось, - с трещиной в голове, сотрясением мозга и сложным переломом двух грудных позвонков.

Но я не устаю всю жизнь моего Ангела-Хранителя благодарить!

Спасибо тебе, мой чудесный и ширококрылый, что ты меня так удачно приземлил, что нет у меня горба, что не веду я жизнь кентавра, сидя парализованная от груди на инвалидных колесах!

- Надо же, - услышали мы с мамой после рентгена, - два позвонка - в осколки, и на долю миллиметра не задет спинной мозг! Ну и везучая же у вас дочь, одна - на миллион!

Тогда у мамы появилась прядь седых волос.  
А школу вдруг срочно начали ремонтировать. И средства нашлись.

Лежать пластом мне пришлось полгода... Пальцы мои заживали, и еще с месяц порой гудела голова...А затем я вдруг попросила в постель карандаш и бумагу...

Внезапное желание писать стихи оказалось подобно зуду, какой бывает, если тебя комары «пожрут»: чем больше чешешь, тем больше волдырей, чем больше волдырей, тем больше чешешь!..

Итак, все мое последующее литературное творчество это не что иное, как следствие трещины черепа и сотрясения мозга осенью 58-го года!

### **На досках (чувствительным не читать)**

Стали лечить мой поломанный позвоночник по новому методу – никакого гипса, а лежать ребенку на досках!

Сколотили из досок помост с дырой прямо под попой и поставили под дыру ведро с крышкой. С комфортом, значит!

Накрыли доски одной только хлопчатой простыней и положили меня обнаженной спиной на это сооружение в углу комнаты. Положили почти на целых полгода...

От двери до двери проходной комнаты была наконец протянута то ли проволока, то ли веревка, на которую родители повесили тяжелый занавес, отгораживающий меня, а заодно и брата от возникшего таким образом коридора. А еще лет через пять соорудили перегородку из гипсокартона. Но мне уже было все равно...

Волосы мне опять остригли – гигиена! Переворачивать и вообще сдвигать меня с места было строжайше запрещено, а мыть разрешили только влажными обтираниями. Спину мама осторожно обмывала только по бокам, просовывая под меня руку справа и слева, но район вдоль всего позвоночника был запретной зоной, поэтому центральная часть спины полгода оставалась невымытой!

Через какое-то время там от неподвижности стали болеть все мускулы, и кожа вдоль позвоночника безумно чесаться, а через месяц-другой простыня подо мной в этом месте начала гнить. Сперва появились пролежни, а со временем и открытые раны, которые я, конечно, не видела, но прекрасно чувствовала – поверхность спины подо мной жгло как огнем - она медленно отмирала, и это в то время было самое страшное мое мучение.

Начались кошмары – я видела во сне гнилое мясо в котором ползают белые червячки... Такое мясо я видела однажды в парке, где наткнулась на полусгнившего голубя. Чтобы все-таки спать, приходилось глотать снотворные и болеутоляющие таблетки.

Мать не отходила ни на шаг.

Совершеннолетний мой братец в то время уже жил непонятной жизнью, и его иногда таскали в милицию, но ночевал он все-таки дома на своей складной кровати в

противоположном углу. А папа, когда бывал дома и у него было лирическое настроение, подсаживался ко мне на деревянный помост и вел душевспасительные разговоры. И опять это привычное: надо потерпеть!

Виноватая в шатких перилах школа присылала учителей к нам на дом, и я занималась, лежа в постели, чтобы не пропустить учебный год. Но год все-равно пропал, так как я была постоянно сонная от таблеток и учиться толком не могла.

Физической болью меня не удивишь, но я ее боюсь, потому что хорошо знаю. Мой опыт всегда подсказывал, искать с болезнями общий язык. На всех болевых фронтах я была коллаборатором - если не было шансов на победу, то, размахивая белым флагом простыни, я переходила на сторону врага и начинала с ним сотрудничать.

Хорошо, что любые ужасы когда-нибудь да кончаются. Настал великий день и меня с этого помоста подняли и заменили лохмотья подо мной на новую простыню. Стали сажать каждый день на час и лечить мою сгнившую за полгода спину какими-то примочками, мазями и компрессами, пока на ней наконец опять не появилась кожа. Ходить я за эти полгода совсем разучилась и делала первые шаги по комнате, словно младенец, хватаясь за мамины руки и большой круглый стол.

Наконец папа торжественно распилил мой проклятый эшафот и три дня сжигал его в нашей кафельной печке!..

Каким это было счастьем, спать в настоящей постели на чистой простыне да еще на боку!

Позвонки прекрасно срослись – варварский «дощатый» метод себя оправдал. Следующие полгода заняла физиотерапия на дому с веселой кудрявой тетей Лилей, которую присылыла наша поликлиника.

Один школьный год я все-таки потеряла, бог с ним! Я не мелочусь, и жизнь впереди была еще длинная. А в моей беде нашлась и положительная сторона: если раньше я была очень сутулая: голова вперед, и одно плечо выше другого, то теперь от жесткого лежания на спине я вдруг вытянулась, выпрямилась и стала стройная, как бамбук.

- Хоть в балет отдавай, - счастливо улыбалась моя бедная мама.

Из этой школы меня, конечно, забрали. На следующий год я повторно пойду в пятый класс, но в новую школу за два квартала от дома.

### **Об эротике в жизни нашей**

На «неприличные» темы о мужчинах и женщинах с детьми и подростками никто не разговаривал, ни в семье, ни в школе.

Не обсуждать же взрослым с детьми такие дела!

Детишки взрослели, узнавая про все запретное от «опытных» сверстников и старшеклассников, которые уже что-то слышали или подсмотрели, а также методом самопознания и заглядывания порой в чужие штаны.

Все стыдное делалось за закрытыми дверьми, и тема половых отношений хотя и жила совсем рядом, сквозя из всех замочных скважин, оставалась за семью замками.

Любви, говорили взрослые, положено было быть возвышенной и поэтической. И получалось, что вроде было две разные любви – одна легальная, романтическая и сказочно красивая, ради которой идут на смерть! А вторая - подпольная, грешная и грязная, за которую презирают и даже наказывают....

Папа к тому времени уже собрал солидную библиотеку отечественной и переводной литературы, которую постоянно пополнял, заставляя стены все новыми и новыми книжными полками. Вот где можно было почерпнуть нужные сведения о любви!

Но папа строжайше запрещал мне прикасаться, например, к Мопассану, к «Госпоже Бовари» Флобера, к «Декамерону» Боккаччо, и еще к десятку «опасных» книг: а вдруг я неправильно их пойму и начну «морально разлагаться».

- Вот доживем до твоего шестнадцатилетия, и будешь читать, что хочешь!

Но он редко бывал дома, а маму интересовало только хозяйство и мое здоровье, поэтому уже в тринадцать лет я ухитрилась прочитать все запретное на папиных полках.

Кроме того, папа и не подозревал, что все его строгие указательные пальцы бессмысленны: учения Камасутры и «Ветви Персика» всюду размножились школьниками и тайно ходили по рукам, многократно перепечатанные на пишмашинках через лиловую копирку.

Но это - позже... А до яблока и волнующих открытий было счастливое неведение и вера ребенка в безупречность взрослого мира.

### **Как устроены девочки?**

Самое первое эротическое событие, которому я была свидетелем, но тогда, конечно, не поняла, произошло, когда мы еще жили на Улице Жертв Революции, и мне было пять лет ...

За рядами бельевых веревок двора находился маленький неухоженный садик, заросший высокими сорняками и диким кустарником. Дворовые дети часто играли там на куче песка, который завез на самосвале наш дворник - своих детей он не имел и посему очень старался для чужих..

В тот жаркий день я ковырялась в земле в дальнем углу садика. Внезапно у песочной кучи появилась стайка десяти-двенадцатилетних мальчишек, среди которых я увидела и моего брата,. Они прибежали с улицы и устроились на соседскую трехлетнюю малышку, оставленную в песке без присмотра. Больше детей в садике не было, а меня за высокой стеной крапивы никто не заметил.

Очевидно, у них был спор о техническом устройстве девочек. Чтоб его решить, они схватили на руки и потащили малышку в кусты. Прикрыв ей ротик ладонью, чтоб не пищала, мальчишки стащили с девчонки трусики и ... заглянули в самое запретное!...

Удовлетворив сжигающее их любопытство, злодеи кое-как натянули ей бельишко и убежали, оставив перепуганного ребенка лежать под кустом и плакать навзрыд...

## **Голый дядька**

Следующее познание запретного мира произошло тоже еще по старому адресу.

Как-то зимой, когда быстро стемнело, и всем уже пора было идти на ужин, мы, заигрались, и в темноте двора стали подсматривать в освещенное подвальное окно – там была кухня нашего дворника.

Это окно находилось чуть ли не под потолком глубокой, как нора, подвальной квартиры, и на этот раз на нем не была задернута цветастая занавеска - очевидно, в тот день о ней забыли.

В свете яркой лампочки мы увидели дворника, который стоял вглубине кухни к нам спиной и готовил себе на клеенке стола ужин.

Но боже, какой срам - он был голый!!

Голых женщин я уже видела в женском отделении бани, куда с шести лет стала ходить с мамой. И еще я как-то видела скульптуры голых женщин – они были на фотографиях в одной папиной книжке.

Только у большинства живых женщин были толстые животы, на которых лежали длинные груди, а каменные женщины были красивыми....

А вот дядьку без трусов я видела впервые, потому что папа и брат при мне никогда догола не раздевались.

Сначала всем нам было очень смешно, мы, хихикали и подталкивали друг дружку локтями: ах, какая у дворника оказалась волосатая попа!

Но когда он вдруг повернулся и пошел по кухне, я увидела свисающую с его живота розовую тряпичную куклу, она болталась головой вниз, словно полуживая...

От вида непонятной, растущей прямо из человека, куклы я пришла в ужас - зачем такое?! – и, сломя голову, понеслась домой.

С тех пор я нашего дворника очень боялась.

## **«Несчастный случай»**

В 11 лет мне перед входом в дом расквасили нос... И было за что. Я стояла с несколькими соседскими девочками и затаив дыхание слушала всякие пакости про мужскую колбасу, которую они суют в своих жен. И конечно тут же полезла защищать честь своей мамы, которая не занимается такими гадостями. А если и родила меня с братом, то только благодаря специальным таблеткам для беременности. А другого объяснения и быть не могло!

Я даже заплакала от обиды за маму и до хрипоты спорила, чем мешала «опытной» девченке рассказывать дальше.

Кончилось тем, что меня в сердцах стукнули по носу и я забрызгала кровью все пальто. Дома я соврала, что кровь пошла без причины, чем до смерти испугала маму, и она тут же потащила меня в поликлинику, черт!

Эта «опытная» девченка жила одна с хромой мамой, и эта мама, когда сердилась, называла ее «несчастливым случаем».

Но только через много лет, когда я уже хорошо соображала откуда берутся дети, я услышала трагическую историю ее мамы, от которой все хохотали, в том числе и сама пострадавшая.

Оказывается, муж этой женщины еще в середине войны погиб и, погрузив, она завела себе дружка, который хоть и был женат, соседским красоткам не отказывал.

Мужчинка он был маленький и кривенький, но в военное время, когда мужской пол на гражданке был дефицитом – вдруг стал нарасхват. Словом, та колбасная история...

Когда женщина вдруг обнаружила, что беременна, она пришла в ужас и стала черт знает что творить!... Денег на настоящий аборт у нее не было, но и не вязальными же спицами у старух-знахарок калечиться, страшно!... А плюгавенький дружок и знать ничего не желал, сделав лицо женатого челоовека.

И вот несчастная стала «срывать» беременность всеми доступными ей способами. Сперва она, осушив целый стакан водки, плюхнулась в такую горячую ванну, что тут же с воплями и ожогами вылетела из нее.

Потом она решила себя сотрясать и стала прыгать.

Попрыгала месяца три – сперва с кухонного стола, с лестниц и подоконников, потом со склона обрыва в конце улицы, забираясь все выше и выше. Эмбриону это совершенно не мешало развиваться, возможно, он даже развлекался.

Вконец отчаявшись на пятом месяце, она забралась ночью на крышу большого металлического гаража в углу двора и сиганула с него на асфальт...

Там она и осталась лежать, сломав себе сразу обе ноги.

Переломы оказались сложными, и бедняжку в больнице и оперировали, и свинчивали какими-то шурупами, и гипсовали...

Ее не выпустили из-под одеяла вплоть до родов, чтоб она, не дай бог, дите свое драгоценное не потеряла!

С тех пор и хромает...

## **Метаморфозы**

Через пару лет, показав всю свою яростную власть, псориаз несколько ослабил хватку и стал отступать - разбросанные по мне континенты подтаивали по краям, удирая от ультрафиолета, кортизона и рассола морских лечебных ванн, в которых меня вымачивали, как огурец в банке.

Когда я превратилась в подростка, его континенты на моем быстро изменяющемся теле распались на крупные острова, между которыми светилась нормальная человеческая кожа. Новые острова вновь распадались на архипелаги и тонущие перешейки...

Еще через пару лет лечения моя географическая карта совсем изменилась, словно настал всемирный потоп и только бесчисленные вершины болезни достигали моей поверхности.

Окончательно избавиться от этого проклятья пока не удавалось, но теперь оно легко пряталось от недобрых взглядов под толстыми чулками и длинными рукавами. И когда наконец отрасли мои волосы, я начала крутиться перед зеркалом и влюбляться в мальчиков.

Был конец пятидесятих, время битников, Рок-н-ролла, Элвиса и моего братца в широченном галстуке и узких «намыленных» штанах. Стиляга!  
Приближались шестидесятые - время первой любви, твиста и поэзии...

\* \* \*

*(Конец отрывка)*